

АЛЕКСАНДР
СОБОЛЕВ

ТЕНЬ
ЗА ПРАВЫМ
ПЛЕЧОМ

Р О М А Н



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНА ЛИМБАХА

Александр Соболев
Тень за правым плечом

«Издательство Ивана Лимбаха»

2022

УДК 821.161.1-3«20»
ББК 84.3(2=411.2)6-4

Соболев А. Л.

Тень за правым плечом / А. Л. Соболев — «Издательство Ивана Лимбаха», 2022

ISBN 978-5-89059-464-8

В антикварном магазине Вены обнаружена рукопись – мемуары неизвестного лица, проживавшего в 1916 году в Вологодской губернии. Почти против воли автор записок оказывается вовлечен в череду тревожных и таинственных событий революционной поры. Каков будет выбор героини: слепота или зоркость, бескорыстие или овладение, помощь или пагуба? Впрочем, хитросплетения фабулы не заслоняют иные аспекты романа, по-новому трактующие вечные и одновременно животрепещущие темы: хрупкость существования, трагичность истории, вина и ответственность, достоинство личности и непредсказуемость судьбы. Александр Соболев – филолог, знаток и исследователь поэзии Серебряного века. Первый роман автора, «Грифоны охраняют лиру» (2021), заинтересованно встреченный критиками и читателями, вошел в короткий список премии Андрея Белого.

УДК 821.161.1-3«20»
ББК 84.3(2=411.2)6-4

ISBN 978-5-89059-464-8

© Соболев А. Л., 2022
© Издательство Ивана Лимбаха, 2022

Содержание

Пролог	6
Часть первая	17
1	17
2	20
3	23
4	29
5	34
6	39
7	48
8	53
9	63
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Александр Соболев

Тень за правым плечом

*Когда, рукою беспощадной,
Судьба надвинет камень хладный
На сердце бедное, – тогда,
Скажите, кто рассудку верен?
Чья против зол душа тверда?
Кто вечно тот же навсегда?
В несчастьи кто не суверен?
Кто крепкой не бледнел душой
Перед ничтожною мечтой?*

Гоголь

*Повсюду нынче ищут драмы,
Все просят крови – даже дамы.*

Лермонтов

© А. Л. Соболев, 2022

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2022

© Издательство Ивана Лимбаха, 2022

Пролог

В ноябре позапрошлого года я был на конференции в Вене. Вернее, конференцией это можно было назвать лишь с определенной натяжкой, желая польстить или оправдать задним числом перерасход казенных денег, ассигнованных на командировку: в действительности добрейший профессор П., глава местного славянского отделения, пригласил пятнадцать-двадцать ученых из разных стран, сообразуясь, кажется, больше с личными симпатиями, нежели с интересами академической науки. Получилось на удивление славно и непривычно для занятий такого рода, как будто разом сняли все классические тяготы и обременения, поневоле сопровождающие любые ученые сисситии с симпозиумами: не было здесь ни гулко хохочущих зубастых аспиранток в свитерах крупной вязки, ни потеющих студентов в пиджаках, ни густо накрашенной профессорши из дальнего богатого университета с неременной свитой соискателей теплого местечка, ни спортивных напористых доцентов, ни стыдного ажиотажа у столика с вином (красное закончилось, а последняя бутылка белого отставлена в сторону с завязшей в горлышке и сломанной пробкой: штопор унесли).

Напротив, все было на редкость по-домашнему, как в правильной патриархальной семье где-нибудь на итальянском юге, когда по радостному ли, печальному ли поводу съезжается родня со всего света: преуспевающие дядюшки откуда-нибудь с Манхэттена (чьи модные мешковатые костюмы так странно корреспондируют с аффектированной реакцией на громкие звуки), кузины из Брешии и Падуи, племянники из Стронголи и Умбриатико – и даже, под общие аплодисменты, в дверь старого семейного дома входит, опустив глаза, некогда изгнанный оттуда какой-нибудь Гвидо, с горя докатившийся аж до Гваделупы и там преуспевший, невзирая на противодействие китайских и филиппинских товарищей по ремеслу. Все это будет в ближайшие два дня пить, есть, перешептываться, изумляться, плакать и хохотать, делиться новостями, изображать взаимное неузнавание, продолжая пребывать во всепоглощающем чувстве неизменной семейной общности. Что-то в этом роде иногда (очень редко) удается пережить и в профессиональном смысле: как и старое разветвленное семейство, нас объединяет свой язык и свои предания, чуждые, смешные и непонятные профану, который вздумал бы нас изучать – проникнуть в наш цех не так-то просто, а быть извергнутым из него почти невозможно. Но, конечно, за всеми этими необязательными деталями проступает вполне очевидная и по-настоящему важная вещь: мы, вслух говоря, стареем вместе, что роднит похлеще подлинно кровных уз.

Всматриваясь в славные лица драгоценных коллег, я с каким-то сердечным покалыванием вспоминал обстоятельства наших знакомств: той, когда мы впервые увиделись, было двадцать семь, а тому сорок (и он казался нам могучим седобородым патриархом); на этого подвижного старца с ясными голубыми глазами я лет тридцать назад крепко разозлился за сказанное некстати острое словцо; а эту ладную даму, с увлечением показывающую фотографии внуков на экране планшета, я помню застенчивой барышней с легким нервным тиком (придававшим ей, между прочим, особенное очарование) и привычкой всегда, на любую встречу, приходить на полчаса раньше, погружая пунктуального визави в глубокую неловкость.

Научная часть конференции была практически безупречна. Камерная атмосфера, как оказалось, чрезвычайно способствовала гладкости: никто не заикался, не выклянчивал у ведущего лишних пяти минут; не было ни шума в зале, ни перепалки после докладов. Впрочем, и программа была построена так, чтобы участники не слишком утруждались: два доклада с утра – и завтрак, еще три – и обед, еще два – и пора уже честь знать. Общей миролюбивой расслабленности способствовала и атмосфера, сгустившаяся за каменными стенами славянского отделения: в Вене уже вовсю шли приготовления к Рождеству. Город этот странно сочетает немецкую обстоятельность с какой-то шоколадной легковесностью, из-за чего любое преддв-

рие праздников, не говоря про сами рождественские дни, приобретает характер тотальный, если не тоталитарный: хочешь или не хочешь, сообщает тебе Вена, а изволь веселиться, а то худо будет. В принципе, суровость эта напускная, как часто бывает в Австрии, иначе жизнь для человека мало-мальски чувствительного была бы тут невыносимой: разросшиеся дворцы, чудовищные бульвары, гипертрофированные соборы – но все это как-то немного понарошку, вроде батального полотна во всю стену, с киверами, штыками, хоругвями, ядрами и прочей героической атрибутикой, в самом углу которого пририсована маленькая беленькая собачка. Я разглядывал эту картину в Музее истории искусств, особенно, конечно, радуясь собачке: я и вообще к ним неравнодушен, а тем паче в музеях, где они (вернее, их изображения) регулярно приходят мне на помощь.

Программа конференции в этот день была совсем неутомительной даже по снисходительным здешним меркам: с утра мы должны были выслушать два или три доклада, после чего предполагался общий обед. Судя по серьезности, с которой в Австрии относятся к еде, ожидало нас нечто вполне лукулловой утонченности и гомерических масштабов: по крайней мере, опытные участники, не раз пользовавшиеся здешним гостеприимством, говорили о будущей трапезе с особенным загадочным видом. Обед был по подписке – и тут, когда расторопный аспирант, ведавший организационной частью (и несколько дней назад трогательно взволнованный из-за сообщения, что я не буду ждать встречающих и сам доберусь из аэропорта до отеля), переспросил меня, я сказал, что на обед не приду, поскольку буду занят.

На самом деле никаких особенных занятий я на этот вечер не планировал, но, с одной стороны, за прошедшие дни скопилась некоторая усталость от постоянного пребывания среди людей, а с другой – раз уж я оказался в Вене, мне хотелось зайти в одну из здешних художественных галерей. Иного времени для этого не находилось: на следующий день с утра нужно было лететь в Москву. Поэтому я решил сразу после дневной сессии забежать в гостиницу, оставить там рюкзак с ноутбуком и налегке поехать в какой-нибудь из центральных музеев, где и провести два-три часа; после чего можно было бы перекусить в ближайшем кафе, выпить для сна и пищеварения рюмочку местного крепкого напитка и спокойно возвращаться домой. Примерно так все и вышло: на метро я добрался до музея, купил красивый цветастый билет и вошел внутрь. Из-за нелепого устройства головы полноценно и вдумчиво я могу разглядеть десяток-другой картин: дальше взгляд начинает скользить по ним, будучи не в силах справиться с обилием впечатлений. Подозреваю, что я такой не один – но при этом кураторы (или как там называются те особенные люди, которые ведают развеской в музеях, галереях и аукционных домах) как будто специально вешают поближе ко входу вещи совершенно незамысловатые, приберегая шедевры для глубинных залов.

Почему так делают в аукционных каталогах, я как раз понимаю: чтобы основная часть публики досидела до конца, когда будут разыгрываться ударные лоты. В школьные годы нас однажды повели на экскурсию по кондитерской фабрике: не понимающие детей и не умеющие с ними обращаться экскурсоводы сопровождали это каким-то постыдным сюсюканьем, заставляющим даже сейчас, несколько десятилетий спустя, ретроспективно чувствовать смущение. Впрочем, в мякоти этих несмешных шуток было скрыто острое жало: нас, на секунду посерьезнев, строго предупредили, что мы можем съесть из тамошних образцов все, что душе угодно, но вот в карманах (а равно и в прочих емкостях, исключая внутренние полости организма) выносить ничего нельзя. Главная взрослая подлость заключалась в том, что нас вели по фабрике, начиная с цехов малоинтересного мармелада и банальной пастилы – и к моменту, когда мы подошли к сокровенному шоколаду, все были уже полностью и даже избыточно сыты.

Что-то в этом роде практикуют и крупнейшие музеи мира: впрочем, поднаторев, я нашел против этого собственный прием. Как только, пройдя первые два-три музейных зала, я чувствую, что новым впечатлениям деваться уже некуда, я начинаю проглядывать висящие вокруг картины с единственной целью – отыскать на них изображения собак. Между про-

чим, старые мастера (которые мне по преимуществу и любопытны) запечатлели их в огромных количествах, так что дело это оказывается азартным и плодотворным. Я нахожу очередную собачку, разглядываю ее, фотографирую крупным планом, обязательно сняв рядом с ней и табличку-экспликацию, после чего, поглощенный поиском, продолжаю свой путь, пока не добреду наконец до какого-нибудь Рубенса (на мой взгляд – дутая величина) или Веласкеса (совсем другое дело) с очистившимся сознанием и незамутненным взором.

Так было и в этот раз: пройдя первый зал, я почувствовал знакомые симптомы. Интересно, кстати, почему лесом или горами можно любоваться бесконечно, нисколько не наскучив зрелищем, а вот рассматривать картины, вроде бы не в пример более разнообразные, надоедает уже через полчаса? В общем, не успев отвести глаз от ранненемецких портретов, хмуро на меня уставившихся из своих золоченых рам, я почувствовал, что пора заняться собачками, – и медленно побрел вдоль стен. Вскоре, сразу по миновании портретной галереи, они начали обнаруживаться: в основном, в угоду тевтонскому незамысловатому юмору, грызущиеся под столом из-за костей, но не только. И вот примерно на десятой собаке (в погоне за которой мне пришлось миновать три-четыре зала) меня настиг телефонный звонок.

Почему-то в нынешней жизни стало очень много мусора. Если сто или двести лет назад вы обнаруживали в почтовом ящике письмо, то почти всегда оно было адресовано лично вам: при этом оно могло содержать дурные вести или представлять собой роковую повестку, но почти никогда оно не было направленным по ошибке. В телефонной трубке обнаруживался неожиданный и смелый, но при этом несомненно знакомый голос – а если он и был незнаком, то все равно абонент разыскивал лично вас. Сейчас, если у вас в кармане раздастся звонок, то почти наверняка это неизвестный хочет выманить часть ваших денег, но в крайнем случае удовлетворится тем, что заставит бездарно потратить две-три минуты вашей короткой печальной жизни. Я посмотрел на экран: номер был незнакомый, с каким-то европейским кодом. Удивительно, кстати, сколько мы за последние десятилетия позабыли того, что знали: вот, например, телефонные номера. Покуда они не утратили актуальность, я знал наизусть, наверное, полсотни – друзей, иных знакомых, присутственных мест, да и еще какие-то случайные, но врезавшиеся в память. При этом мой-то результат довольно средненький: существовали люди, помнившие по несколько сотен номеров, – и куда, спрашивается, делись все эти умения? Освободив существенный участок мозга от необходимости запоминать вереницы семизначных чисел, стали ли мы умнее или спокойнее? Вопрос риторический, тем более что на смену телефонным номерам пришли пароли, которые тоже нужно запоминать, – и, более того, если забытый телефон грозил нам секундным неудобством (достань записную книжку, да и освежи его в памяти), то утрата пароля, особенно одного из ключевых, обещает куда более значительные неприятности. Характерно, что любой нелепый интернет-магазин, куда ты заходишь единожды в жизни, чтобы заказать, например, гуманную мышеловку (которая не перебьет хребет несчастной любительнице дармового сыра, а ненадолго заточит ее, хватаящуюся лапкой за сердце, в комфортабельную клетку), обязательно требует десятизначного хитроумного пароля, который изволь сохранить на случай следующего визита.

Разделяя в полной мере эту всемирную забывчивость, телефонов я не помню и международных кодов тоже – кроме России и Германии. Первая мысль была, что мои конференционные товарищи, огорчившись открывшимся зиянием за пиршественным столом, решили переспросить, не присоединюсь ли я к ним; вторая (паникер, выглядывающий из-за плеча сиротки, если принять концепцию множественных личностей) – что я перепутал день выезда и портье звонит, чтобы выяснить, когда я, доннерветтер, освобожу наконец комнату. Говорят, что время сна настолько отличается от реального, что за несколько наших секунд там можно прожить целую жизнь: не знаю, но за время, пока звонит телефон, человек определенного склада может уйму всего передумать. Пока мне в голову приходили все эти соображения (не исключая, между прочим, и последнего), я держал его в руках, разглядывая экран: звук у меня обычно отключен,

так что аппарат лишь содрогался в пароксизмах ярости. На седьмом или восьмом спазме он вдруг, мигнув экраном, отключился вовсе – не только прекратив тщетный звонок анонима, но и превратившись прямо в моих руках в легкий кусок серебристого металла и прочного, хотя и поцарапанного жизнью, стекла.

В человеческой культуре, в одном из бесконечных ее извивов и шупалец, живет устойчивый сюжет о точке уязвимости. Думаю, большая часть моих сверстников не раз слышали о том, что на человеческой шее есть особенное место, где одна из питающих мозг артерий (sic!) выходит совсем близко к поверхности, так что даже легкое, буквально воздушное нажатие на нее непременно приведет к мгновенной смерти. Иногда к этому прилагался рассказ, явно рожденный, судя по антуражу, в мрачном советском подсознании: про драку в очереди (sic!), во время которой один из участвующих так неловко отпихнул свою конкурентку, что угодил точно в это роковое место, из-за чего она немедленно скончалась. Почему-то, по странной прихоти ассоциаций, при этом рассказе мне вспоминались ряды тушенки в жестяных банках, на этикетках которых была изображена свинья, причем в иконографии траурных портретов, в особенной овальной мемориальной рамке, даром что шеи у нее на портрете вовсе не было.

Другим участником подобного, на этот раз уже не мифологического, казуса оказался в свое время я сам. Будучи ребенком, я любил играть с исполинской стеклянной вазой или тарелкой для фруктов... по крайней мере, с чем-то настолько устойчивым и безопасным, что родители без тени боязни мне ее доверяли. И вот в какой-то момент я, постукивая по ней карандашиком (уж не знаю, что мне мерещилось тогда сквозь розовую дымку младенчества – соло на барабанах?), попал в такое чувствительное место, что она с легким треском облегчения рассыпалась в стеклянную пыль. Сам я этого, конечно, не помню, но мама мне несколько раз пересказывала всю сцену: со временем я мысленно дал свои цвета и положения тогдашним предметам, но покойная ваза (или тарелка) так и осталась в тумане. С появлением компьютеров эти уязвимости вышли, так сказать, на всенародные очи: всякому случалось, набрав что-то на первый взгляд вполне невинное, увидеть вдруг перед собой синий экран, внятно сигнализирующий о том, что работа сегодняшнего дня (и это еще в лучшем случае) пошла прахом. Неудивительно, что нечто подобное определенные звонки способны сделать и с телефоном – либо собственной комбинацией входящих электронов, либо создав резонанс с какими-то внутренними обстоятельствами, как, например, в данном случае. Вероятно, объединение просмотренной страницы музея, загруженной карты Австрии и звонка с особенной комбинацией цифр (редкая, почти исчезающая вероятность!) обязано было привести к тотальной перегрузке аппарата.

Я попытался его включить: вотще, лишь мигала пиктограмма, свидетельствующая об отсутствии заряда. Здесь опять сказала одна из нелепых примет сегодняшнего дня: последние двадцать лет силовые точки нашей жизни постепенно смещались в сторону телефона, в какой-то момент сделав его средоточием всей обыденной биографии любого из современников. Казалось бы, его временное выключение должно даровать несколько часов полной свободы, вручить что-то вроде шапки-невидимки из страшных сказок прошлого, сделать незаметным для врагов и друзей, позволив сконцентрироваться на окружающих шедеврах (я все еще был в Музее истории искусств). Какое там! Кошмары, один другого язвительнее, обстали меня: я мгновенно представил, как волнуются близкие, не дозвонившись мне; как я упускаю выгоднейшую сделку из-за того, что компаньон мой, зачарованный перспективами, но все-таки колеблющийся, не может получить моего согласия и контракт уплывает в другие руки; как что-то случается с детьми... Человеку вообще свойственно преувеличивать свое значение для окружающего мира: смириться с тем, что после собственного исключения из бытия все вокруг останется по-прежнему, довольно-таки непросто, но мысль эту нужно выносить в себе, как эмбрион, дав ей заматереть, – внезапным прозрением осознать это мудро. В общем, все это обдумав (хотя, может быть, и не в таких выражениях), я попытался, наперекор порыву, еще походить по музею. Фотографировать собак мне больше было нечем, но мгновенная капиту-

ляция под не слишком разящим ударом судьбы отдавала каким-то позором: как если бы Иов перешел к новому дискурсу немедленно после того, как у него, скажем, сломалась мотыга.

Настроения дальше разглядывать картины не было никакого, тем более что все как один портреты (я опять машинально убрел в зал каких-то кронпринцев и их базедовых суженых) поглядывали на меня насмешливо, демонстративно отводя глаза, когда я встречался с ними взглядом. Наконец, уговорив себя извлечь максимум удовольствия из неожиданной утраты, я кое-как сосредоточился на картинах и демонстративно просмотрел два или три зала: внимательно, неторопливо, тщательно читая этикетки на трех языках и вглядываясь в мазки, – здесь, между прочим, оказалась и живопись поинтереснее, в том числе и прекрасный Босх, как всегда охотно посмеивающийся над зрителем-дурачком. Существуют картины, которые действуют как стакан лимонада со льдом, выпитый в жаркий день: от них как-то на несколько секунд столбенеешь, после чего отправляешься дальше уже отчасти перезагруженный (как видно, тема издохшего телефона меня не отпускала). Так вышло и здесь: «Какого, собственно, черта, – сказал я себе, – если мне не хочется больше таскаться по музею, а хочется перекусить и двигаться домой – кто может мне это запретить?» Быстрыми шагами, чуть не вприпрыжку, я отправился вниз, по парадной лестнице, где группа аккуратных, по росту подобранных китайцев, прилежно внимала экскурсоводу; вызволил из гардероба плащ и вышел вон.

Уже стемнело. Есть городской пейзаж, который неизменно наводит на меня нестерпимую тоску: ночь, легкий дождь, мелкие лужи на тротуаре и красные огни стоп-сигналов, в них отражающиеся. Убери любой из этих компонентов (скажем, замени морось на ливень) – я только надвину капюшон и зашагаю дальше, но именно это сочетание почему-то для меня губительно: выйдя из музея, я немедленно увидел, как с грацией орнамента в калейдоскопе все эти фрагменты складываются воедино. Впрочем, помощь подоспела с неожиданной стороны: очень корпулентная, пышно одетая цыганка вышла мне наперерез из-за колонн музея и, заговорив по-немецки, попыталась взять меня за руку.

Необразованность, что бы нам ни говорили, редко оказывается доблестью, но в такие минуты поневоле благословляешь внутреннего Митрофанушку. Никаких иностранных языков (кроме оскорбительно суконного английского) я не знаю: впрочем, чтобы не обижать иноязычных собеседников, я обычно в ответ на непонятную мне реплику начинаю читать хорошее русское стихотворение (однажды это помогло мне усмирить весьма агрессивного боснийского таксиста). «Отдавай мне свои деньги, и побыстрее», – сказала цыганка (я уверен, что текст был другой, но смысл, если перескочить через несколько логических звеньев, без сомнения, этот). «Старик! Я слышал много раз, что ты меня от смерти спас», – отвечал я ей. Она, склонив по-птичьей голову, переспросила, знаю ли я по-немецки. В ответ я сообщил, что «напрасно в бешенстве порой я рвал какой-то там рукой». Беседа только начинала мне нравиться, тем более что удалось, кажется, отбиться от приступа хандры, но звуки, сладостные для уха каждого русского, прилились моей собеседнице явно не по вкусу, так что она, не попрощавшись, повернулась и вскоре пропала между домами.

Сперва я подумал было двинуться за ней (один из многих инстинктов, гораздо сильнее руководящих нашим поведением, чем кажется), но мигом себя осадил, тем более что передо мной стояла незаурядная задача. Конечно, карта Вены (как и все прочее) была у меня в телефоне: сам я помнил лишь название улицы, на которой жил, и кое-как мог дотащиться туда от ближайшего метро. Таким образом, риск заблудиться в принципе отсутствовал: вдали виднелся знак станции подземки, спустившись в которую и слегка помудрив перед висящей схемой я без всяких затруднений должен был добраться домой. Но тут дух свободы, на меня снизошедший, предложил попробовать отыскать отель самостоятельно, дошагав по наитию до него пешком – как я бы это сделал сто или двести лет назад. Это показалось забавным: прямо сказать, до пересечения Антарктиды на собачьих упряжках такое приключение не дотягивало, но проверить свою географическую интуицию было интересно. Приблизительно представив

направление, я свернул с хорошо освещенного проспекта в первый попавшийся переулок и быстро зашагал прочь.

Есть общее свойство, присущее всем городам монархического склада – Ницце, Стокгольму, нашему Санкт-Петербургу: отчего-то прохожих там хватает только на центральные улицы, а стоит отойти немного в сторону, как мгновенно оказываешься в блаженном одиночестве. Так получилось и здесь: за спиной у меня грохотали трамваи и слышался многоголовый шум, а в переулочке, по которому я шел, не было ни одной живой души. Дождь перестал; поздняя волглая листва кое-где лежала неаккуратными кучами на тротуарах и мостовой; отчего-то кругом светилось совсем немного окон, хотя был ранний вечер: может быть, впрочем, в этой части города преобладали офисы, мимикрировавшие под жилые дома. В недвижимом воздухе висела странная взвесь запахов – немного от мокрой земли, немного от автомобильного выхлопа, легкая нотка свежеспеченного хлеба (я вспомнил, что до сих пор не поужинал), потом что-то вроде цветочного аромата, уж совсем неожиданного для поздней осени. За углом обнаружился источник как минимум одного из одоратических компонентов: следующий переулок был полностью перекопан. За довольно хлипким ограждением видна была огромная, доходившая почти до окаймляющих его домов яма, от которой густо тянуло свежеразрытой землей (этот запах я принял за аромат опада); я поневоле задумался, какого рода городские работы могли потребовать такого масштаба разрушений. Яма не была похожа на те аккуратные траншеи, которые время от времени выкапывают, чтобы залатать прорвавшуюся трубу: отнюдь, это выглядело скорее как котлован будущего исполинского здания или, напротив, масштабный археологический раскоп (напоминая, между прочим, отчасти и о воронке, оставленной взорвавшейся от нетерпения авиабомбой). Я сунулся было в карман, чтобы осветить ее дно, но вовремя опомнился; стоявший тут же фонарь с делом не справлялся, доводя свет лишь до первых метров отверстия, явно уводившего глубже. Приглядевшись, я увидел, что с одной из сторон благодетельные копатели оставили-таки маленький проход, выложив его досками (на которых уже успели отпечататься глиняные следы моих предшественников – словно здесь только что промаршировал отряд големов). Аккуратно, придерживаясь за перила, я прошел по самому краю ямы: отчего-то внутреннее чувство недвусмысленно гнало меня дальше по переулку.

Сделав еще несколько шагов, я увидел витрину антикварного магазина: помнится, мне тогда же подумалось, что где-нибудь в Риме или Афинах, особенно столетней давности, соединение раскопок и лавки древностей отдавало бы здоровым практицизмом (заодно свидетельствуя об аутентичности товара). Впрочем, эта венская лавка, кажется, археологией брезговала, держась классического ассортимента: в витрине висело несколько гравюр с мрачными северными пейзажами (камни, скалы, водопады), ниспадающая драпировка прикрывала обязательный череп; перед ним, заодно навевая мысли о тщете учения, теснилось собрание сочинений Гёте, состоящее из какого-то немислимого числа томов; стояла пара чернильниц с гусиными перьями; слева, укрепленные друг над другом, висели рисуночки с цветастыми попугаями, на мой взгляд, выполненные совсем безыскусной рукой, чуть не флюмастерами.

Много лет собирая русские книги и рукописи, я непременно захожу в антикварные лавки по всему миру: вернее, заходил до последнего времени, пока еще в кое-каких забытых уголках удавалось обнаружить что-нибудь замечательное по этой части. С годами, впрочем, находок становилось все меньше, так что заглядывать в случайные магазины я не то чтобы перестал вовсе, но уже не стремился объезжать их сплошь, как бывало еще лет десять-пятнадцать назад.

Конечно, в этот я обязан был зайти: плох тот коллекционер, который, фигурально выражаясь, не готов подставить паруса под ветер судьбы. По счастью, он оказался открыт: дверь поддалась, и прозвенел колокольчик – обязательная принадлежность антикварных лавок по всей Европе, унаследованная с незапамятных времен, когда хозяин, отлучившийся на секунду в задние комнаты (где он обычно и проживал с семейством) успевал, услышав звон, вернуться

в торговое помещение, чтобы обслужить посетителя – или, напротив, сцапать его, выбегающего с второпях схваченным товаром. Сейчас, когда везде развешаны камеры, датчики и небось еще какие-нибудь сканеры сетчаток, этот анахронизм кажется излишним, но традиция больше всего бережет такого рода внешние детали, чтобы не слишком сокращаться из-за того, что все остальное безвозвратно пропало.

Впрочем, этот хозяин ниоткуда не выбегал, а сидел себе за письменным столом в глубине зала, отчего-то укоризненно покачивая головой: только со второго взгляда я понял, что он в наушниках и, следовательно, вибрирует в такт неслышимой музыке. Лицо его показалось мне знакомым, но потребовалось еще одно, уже второе по счету, умственное усилие, чтобы сообщить, что он был похож – и, вероятно, сознательно культивировал это сходство – на Карла Маркса, только слегка потрепанного жизнью. Увидев, что я эту физиогномическую рифму опознал и отметил (не наговариваю ли я, впрочем, на самозванца: не так уж велика популяция тех, на кого эти характерные черты величественно тарасились в детстве со всех сторон), он усмехнулся, снял наушники и поприветствовал меня по-английски: вероятно, что-то выдавало во мне иностранца. Я спросил, есть ли у него русские книги. «Нет». Переводы с русского? «Нет». Какие-нибудь путешествия по России? Он вылез из-за стола и, немного косолапя (вряд ли это было сознательным или тем паче инстинктивным оммажем нашему тотемному животному), углубился в свои стеллажи. Я не стал протискиваться за ним, чтобы мокрым плащом не задеть кожаные переплеты: шепетильность может быть и излишняя, но естественная для книжника. Через минуту он появился, бережно баюкая в руках двухтомник в малую осьмушку. Как я и предполагал, это была «Универсальная Россия» Шопина середины XIX века: книга славная, но отчего-то имеющаяся в каждом европейском антикварном – похоже, напечатали ее в свое время уж очень большим тиражом.

Вежливо отказавшись от Шопина, я попросил припомнить – может быть, есть что-то, связанное с любезным отечеством не прямо, а обиняками (как-то я эти обиняки промямлил по-английски): например, книги с русскими экслибрисами или что-то в этом роде. «О! – отвечал он задумчиво, сделавшись похожим на Карла Маркса, обнаружившего у себя в прихожей русскую делегацию, – сейчас, подождите», – и вновь нырнул в пыльные недра. Появился он оттуда, неся в руке пачку тетрадок, по виду школьных, причем почти современных. «Вот, русская вещь», – гордо сообщил Карл, нежно кладя их на прилавок. Тетрадки были пронумерованы; перебрав их, я отыскал первую и открыл. «Сегодня утром на углу *Langegasse* и *Florianigasse...*» – было написано аккуратным, как из прописей, русским почерком. Я ощутил как будто легкое дуновение воздуха: дело в том, что этот адрес не просто оказался хорошо мне знаком, а был, по сути, единственным известным мне венским адресом – именно там, на этом углу, располагалась моя гостиница (проверочное слово «Венеция», догадайтесь почему). Вероятно, переживаемое волнение как-то отразилось на моем лице, поскольку Карл уставился на меня встревоженно. «Сколько стоит?» – спросил я, стараясь казаться равнодушным. «Тысячу евро», – сообщил вождь мирового пролетариата, не моргнув глазом. Названная цена (сама по себе неоправданно нахальная) вернула меня в привычную психологическую колею, так что через полчаса ожесточенной торговли я вышел из магазина, обедневший на четыреста евро наличными (антикваров всего мира хруст архаичной купюры завораживает, как дудочка – крыс), но прижимая локтем манускрипт, ловко запеленутый Карлом в старорежимный крафт. Вероятно, если бы не дразнящая случайность с адресом, я был бы и попримистее, но долгий опыт собирательства подсказывал мне, что деньги эти потрачены не зря, – да и в любом случае неизвестные русские мемуары (а перелистав наскоро тетрадки, я понял, что речь именно о них) – не такая вещь, чтобы ею пренебрегать.

Как обычно бывает после удачной покупки, эндорфиновая волна, знакомая каждому коллекционеру, пронесла меня по оставшемуся пути без сучка и задоринки. В ближайшем же ресторане я прекрасно поужинал, подняв пару рюмок шнапса за здоровье всех австрийских

антикваров, и особенно моего нового знакомого; дальше, повинувшись интуиции, вмиг добрался до отеля и, подключив телефон к зарядке (естественно, оказалось, что за все часы насильственного изъятия из обитаемой вселенной ни одна душа обо мне не вспомнила), погрузился в изучение тетрадок.

Странная это оказалась штука (в чем вскоре вы убедитесь сами): по прочтении первой ее трети я был убежден, что передо мной художественное произведение; потом мне стало казаться, что это странноватая и немного громоздкая мистификация; впрочем, ко второй половине, благодаря некоторым деталям, я пришел с убеждением, что текст представляет собой сугубо правдивые исторические хроники, хотя и написанные несколько неуравновешенным лицом, – и, наконец, ближе к финалу я уже запутался настолько, что как-то отстранился от этого сочинения. В принципе, начиная с известной временной дистанции (которую я определил бы как среднюю продолжительность человеческой жизни) вопрос о реальности исторического лица делается для нас второстепенным – и даже напротив, если вдуматься, Анна Аркадьевна Каренина или Родион Романович Раскольников для нас отчетливее видны и живее ощущаемы, нежели какие-то скучные старики в вицмундирах, честно топтавшие землю и маравшие бумаги в тех же хронологических пределах. Особенно занятно бывает, когда одно и то же лицо предстает перед нами в обеих ипостасях: если сравнить, например, Наполеона в «Войне и мире» и Наполеона в записях его секретаря (забыл имя, да это и не важно), окажется, что живее, хотя и не в пример неприятнее, тот, что запечатлен суровым толстовским пером, а не тот, что отразился в жалостливо-подобострастных (ужасная смесь) записках его многотерпеливого вассала.

Это совсем не значит, что вопрос о подлинности встречающихся в нижеследующих записках имен не занимал меня вовсе. Вернувшись в Москву, я проверил несколько лиц по «памятным книжкам» Вологодской губернии: часть их действительно там были упомянуты, причем пребывали они именно на указанных должностях; с другой стороны, от некоторых не нашлось и следа. Это же касается и описываемых событий: так, например, всю историю с опростившимся эскулапом, великодушным медведем и нестреляющим ружьем я склонен считать совершеннейшей выдумкой – не знаю, возникшей на стадии сочинения мемуаров или просто передаваемой в описанной там среде. Ну и конечно, в полном тумане пребывает личность автора записок, что, впрочем, неудивительно: с одной стороны, кое-какие ее следы в официальных бумагах обязаны были остаться, но, с другой, сами время и место действия не располагали к тщательности – бывало, что и целые деревни, а то и городки пропадали неизвестно куда, что уж говорить об отдельном человеке. Личность эта, признаться, одно время интриговала меня чрезвычайно: дело, естественно, не в общей занимательности фабулы (хотя кое-кому она может показаться затянутой или примитивной), но скорее во всем складе характера, который по мере чтения и перечитывания как-то шершаво отзывался во мне чувством глубинного подобия. Вряд ли это стоит называть внутренним родством – мне знакомо это чувство и оно не таково: хотя интересно, что, например, изволит чувствовать внук знаменитости, читая опубликованные письма собственного дедушки. Мне кажется, даром что судить об этом я могу только вчуже, что нечто подобное ощущают по отношению друг к другу близнецы, хотя в этом случае (как и в других, касающихся человеческой психологии) мы не можем отличить действительную связь от результатов самовнушения. Но тогда получается, что моего близнеца не только украли в детстве цыгане (в широком, конечно, смысле, миро дэвел!¹), но цыгане с машиной времени, дав ему прожить собственную жизнь (небольшой фрагмент которой запечатлен в печатаемых ниже записках) за век до меня. Впрочем, не удивлюсь, если мы когда-нибудь встретимся.

Конечно, тщательнее всего я отнесся к проверке финального эпизода, который должен был, по замыслу автора, верифицировать или, напротив, поставить под сомнение его, так ска-

¹ Бог мой! (цыг.). Ред.

зять, онтологический статус. Сделать это было не так-то просто: венские газеты за 1930-е годы представлены в московских книгохранилищах весьма скупо. С другой стороны, поручить это дело кому-нибудь еще было совершенно немыслимо. Пришлось за довольно значительную мзду заказать в одной из немецких библиотек полные цифровые копии номеров *Wiener Zeitung*, *Die Presse* и *Kronen Zeitung*, покрывающие нужные даты (предполагаемый день окончания рукописи и следующие два-три дня на всякий случай). Не зная немецкого, я потратил почти неделю, чтобы, используя достижения технической мысли, полностью перевести все заметки из разделов «Происшествий», не исключая и самых маленьких. Ничего походившего на нужные сведения там не нашлось – к тайному моему, признаться, облегчению.

Хотя я не слишком верю во всякую хиромантию с психографологией, в какой-то момент, исчерпав, так сказать, возможности посюсторонней эвристики, я отыскал профессионального специалиста по почеркам, представителя исчезающего племени. Привыкнув общаться с окружающим миром посредством электронной переписки, я попытался договориться с графологом о заочной консультации с безличным гонораром: в результате он взбесился так, что отвечал мне сплошным капслоком, сообщив, в частности, что ему не только НЕОБХОДИМО ВИДЕТЬ НАЖИМ ПЕРА (не передаваемый сканером), но и ощущать саму «атмосферу, создаваемую ароматом бумаги» (sic). Все это немного пахло шарлатанством, но я все-таки поехал к нему. Естественно, как это обычно бывает в таких случаях, он жил на другом конце Москвы, в одном из мерзких юго-восточных районов, построенных в 70-е годы, чтобы быстро расселить очередной трудовой резерв, срочно делегированный в столицу ради немедленного запуска свежевозведенного завода... С тех пор вечности жерло охотно пожрало и завод, и резерв, и все поколение трудяг с лучистыми глазами и мозолистыми руками, оставив лишь россыпь несимпатичных зданий – этакие коралловые рифы средней полосы, заселенные новыми обитателями.

Сообразно с профессией, я ожидал найти замшелого старичка, последнего человеческого игуанодонта, тщетно взывающего к мирозданию на берегу метеоритной воронки, – но, как это регулярно случается с нашими ожиданиями, полностью построенными на стереотипах, прощитался. Сейчас, освежая обстоятельства нашей встречи, почему-то полустершейся из памяти (хотя прошло-то буквально два-три месяца), я попытался было вспомнить, какой у него был дверной звонок. Между прочим, прежде впечатления от человека начинались не с прихожей, а значительно ранее: в деревне, само собой, с палисадника, а в городе – с обивки двери и мелодии звонка. Так вот, припоминая этот несчастный звонок (заливистая трель? деликатное треньканье? настойчивый зуммер, наводящий на мысль о будильнике, или, хуже того, школьном ревуне?), я осознал, что звонков-то мы теперь уже и не слышим: все победил домофон, дающий, впрочем, хозяину квартиры несколько лишних минут на подготовку к визиту.

Выйдя из лифта, я подумал, что встречающий меня юнец с дурной кожей и затейливо выстриженными патлами – внук игуанодонта: более того, пока я возился в прихожей, с отращиванием втискиваясь в хозяйские затрепанные тапочки (была зима, так что московские лицемерные чистюли в полной мере практиковали варварский обычай насильственного переобувания), в голове моей наскоро сложился грубоватый сюжет с пропойцей-внучком, ждущим естественного пресечения графологической династии, чтобы выкинуть на помойку наследную библиотеку и завить горе веревочкой (к отложенному трепету соседей). Каково же было мое изумление, когда сам юнец и оказался графологом (и еще, поганец, усмехнулся, заметив и расшифровав мое замешательство), – так что игуанодонтом, как выяснилось, был я сам. Мы прошли в кабинет, обставленный не без уюта: оливковые бархатные шторы, царские жалованные грамоты с красными вислыми печатями в золотых рамах, здоровенный стол с зеленым сукном (весь заставленный компьютерами, сканерами, принтерами и еще какими-то неизвестными мне приборами; посередине стоял микроскоп) и несколько книжных шкафов. Стыдно вспомнить: чтобы скрыть замешательство, я попытался начать какую-то нелепую светскую беседу, что-то вроде «ну и погода нынче» (даром что всегда был непримиримым врагом всех этих

хронофагических рудиментов псевдовежливости), но быстро был деловитым невежей прерван: усевшись за свой монументальный стол и жестом предложив мне занять легкомысленно вертлявое офисное кресло, причалившее к его дальнему углу, он другим, но столь же властным жестом потребовал рукопись.

И без того ощущая себя не в своей тарелке (выражение, отдающее чем-то из быта каннибалов), я собрался заартачиться, но это было бы, конечно, еще глупее, чем сам визит к почерковеду. В самом деле, подумал я мрачно, в иерархии шарлатанов-разгадчиков графология стоит где-то на уровне гипноза, а дальше уже следуют экстрасенсы: отчего-то эта мысль меня порадовала. Из рюкзака (на котором дотаивали самоубийственно легкомысленные снежинки) я достал пластиковый пакет, из него папку со старорежимной надписью «Дело» (специально подобрал такую), из него – тетрадку, извлеченную из середины стопки. Отправляясь сюда, я нуждался в информации, но не был готов сам ею делиться, поэтому довольно долго выбирал фрагмент поскучнее – и даже, честно говоря, собирался вырвать для анализа один-единственный листок, но пожалел манускрипт.

Я протянул ему тетрадку, он как-то небрежно схватил ее своими лапищами и швырнул на стол. Впрочем, последующими действиями он себя отчасти реабилитировал: сперва несколько секунд просто изучающе на нее глядел, потом, уже не в пример аккуратнее, взял обеими руками и несколько раз повернул, осмотрев со всех сторон. Снова положил на стол, теперь уже прямо перед собой. Потом наклонился и понюхал ее, шумно втянув воздух (тут я почему-то успокоился и стал наблюдать более отстраненно). Перевернул спинкой вверх и снова на нее установился (между прочим, смотреть там было не на что – просто голубоватая плотная обложечная бумага). Опять перевернул, развернул посередине и поразглядывал скрепки (смешно сказать, но я, отнюдь не будучи графологом, тоже проделывал все эти операции, только, может быть, не с таким самоуверенным видом – и хорошо помнил, что скрепок там две, верхняя со следами ржавчины, которые перешли и на бумагу). Опять положил тетрадь ровно перед собой. Открыл и прочел первую фразу.

Тут лицо его как будто закаменело. Не глядя, он протянул руку куда-то вправо: мне даже на секунду почудилось, что тянется он ко мне, и я, кажется, даже слегка отпрянул – впрочем, целью его, как оказалось, было крупное увеличительное стекло в черной оправе. Сцапав его и наведя на хорошо уже знакомый мне крупный разборчивый почерк, он несколько секунд хмуро вглядывался в него, проводя стеклом вдоль строк, потом перевернул страницу и поразглядывал еще. После чего медленно отложил лупу и посмотрел на меня с чрезвычайно мрачным выражением. «Это что, шутка?» – спросил он холодно. Растерявшись, я пробормотал что-то невнятное. «Ясно. Консультация окончена». Он брезгливо, двумя пальцами, поднял тетрадь и протянул ее мне.

Дальнейшие несколько минут я припоминаю с густым чувством неловкости – впрочем, милосердная память стерла большую их часть: вроде бы, тщательно пакуя манускрипт, я не переставал бормотать что-то вопросительное, пока упрямо молчаливый хозяин теснил меня к выходу. Очнулся я уже на улице, под порывами снега, валившего крупными хлопьями. Несколько раз я, несмотря на нелюбовь к этому жанру коммуникации, пытался звонить графологу, но он не брал трубку. Письма мои также оставались без ответа.

Наученный и встревоженный этим опытом (убей бог – я так и не понял, что могло взбесить этого прыщавого тайнознатца), я думал, что иррациональные проблемы ждут меня и при наборе рукописи, но, к своему удовольствию, просчитался. Когда я на пробу перефотографировал первую из тетрадок и отправил ее своей машинистке Даше, то через неделю получил набранный уже по новой орфографии текст – без всяких неожиданностей и каких-нибудь странных комментариев (к которым был внутренне готов). Обрадованный, я переснял и отправил остальное – и вскоре все это необыкновенное сочинение было передо мной в полностью готовом виде. Заканчивая затянувшееся предисловие, я должен признаться, что в некоторых

местах моя рука тянулась сделать определенные купюры или кое-что подправить, – и только многолетняя практика текстологического смирения заставила меня отказаться от этой мысли. Мало какая из наук настолько дисциплинирует душу – если она у нас, конечно, есть.

Часть первая

1

Сегодня утром на углу *Langegasse* и *Florianigasse* в мое такси врезался грузовик. Водитель, щуплый восточный человек в кепке, почему-то все время ерзавший на своем сиденье, притормаживал на спуске перед улицей, по которой ходит трамвай. Там впереди – комплекс зданий университета, рядом с которыми собирается толпа студентов и студенток – очевидно, ради последнего глотка вольного воздуха перед погружением в спертую атмосферу учености. Сдается мне, что шофер просто засмотрелся на них: то есть инстинктивно он сперва глянул налево – нет ли там трамвая, потом стал переводить свои масляные глазки направо, чтобы поглядеть, не едет ли кто-нибудь оттуда, но траекторию его плавного взгляда вдруг прервала какая-нибудь голенастая валькирия, задержавшаяся в компании подружек. Несколько лишних секунд во славу чужой бескорыстной похоти – и вот мы уже выворачиваем влево, чтобы промчаться по широкому проспекту к здоровенному, недавно построенному мосту, взобраться на него, выскочить на шоссе и выехать наконец из этого проклятого района (а лучше бы и из этого гнусного города), но тут справа я замечаю краем глаза какую-то огромную тень, и в следующую секунду с сухим хряском нам в тыльную часть впечатывается что-то огромное, отчего наш фиат содрогается. Не знаю, что подумал чертов недоумок с переднего сиденья – возможно, что Аллах наказывает его за мысленные прегрешения. Может быть, кстати, он даже успел порадоваться, что возмездие пришло так быстро. У кого-то из американских писателей мне попался афоризм (между прочим, довольно плоский), что безнаказанность – это промежуток времени между преступлением и наказанием. Так, естественно, мог написать только протестант, спаси Господь их кроткие души с их постной неуверенностью. Мусульмане, насколько я понимаю, в лишних знаменьях обычно не нуждаются, но тут, думаю, ему могло быть даже лестно: вроде ничего особенного он не сделал, но немедленно получил недвусмысленный предупреждающий сигнал с небес.

Похожий психологический казус мне приходилось наблюдать, кстати, еще во время моего недолгого педагогического опыта. Обычно на вторую неделю знакомства с классом уже знаешь, от кого из учениц будет больше всего хлопот. Здешние (то есть венские) уроженцы объясняют это сейчас какими-то особенными переживаниями, скопившимися с самого детства, а то и с матушкиной беременностью и родов: вроде как если подуставший ждать доктор воспользовался щипцами, то объект его усилий, помимо особенной формы черепа, будет награжден еще и некоторыми отклонениями характера. А если уж ему в раннем детстве не повезет сделаться случайным свидетелем каких-нибудь недозволенных сцен из жизни родителей, то все пропало: ходить ему потом всю жизнь к высокооплачиваемому специалисту развеивать туман в помутненном сознании. У нас же пятнадцать лет назад это считалось просто баловством и несдержанностью, подлежащими искоренению. Розгами у нас уже не пользовались (по-моему, кстати, зря), но умелый учитель прекрасно справляется и без них. Тем более что по-настоящему досаждают в классе обычно один-два человека: поневоле ожидая от них подвоха, педагог-практик обращает на них больше внимания, а они, в свою очередь, от этого внимания дополнительно расцветают и начинают шалить с удвоенной силой. Такой вот парадокс: и сдается мне, что везший меня усач (да, физиономия его была отмечена бурно разросшейся растительностью, напомилавшей, если всмотреться, двух мышек, пристроившихся друг к другу спинами над верхней губой) относился именно к этому типу утомительных шалунов, из-за чего мгновенное появление бога из машины (из очень большой машины!) должно было стать для него подспудно утешительным.

Чего не могу сказать о себе. Не говоря уже об отсутствии у меня какой бы то ни было нужды в метафизических откровениях, все, чего мне хотелось, – как можно быстрее выбраться из окрестностей проклятой Картнерринг, но все, кажется, было против меня. Сперва не получалось найти стоянку такси, потом, на обнаруженной наконец, выстроилась очередь из нервничающих пассажиров, которая тянулась еле-еле из-за того, что машины, словно что-то чувствуя, обходили стороной этот квартал. Наконец все мои предшественники с грехом пополам разъехались, причем пара, стоявшая непосредственно передо мной, как-то оскорбительно долго грузилась в доставшийся им миниатюрный опель. Мало того что оба они были весьма пухлыми, но и багаж у них был под стать: какие-то перевязанные лентами картонные коробки, раздувшиеся пакеты – и все это требовало особенно бережного обращения, а часть еще должна была непременно понадобится в дороге – как будто они собирались в кругосветное путешествие и решали, что пойдет в трюм, а что в каюту. Наконец они убрались, и еще через несколько томительных минут к тротуару лихо подкатил фиат с усачом, который, чертиком выскочив из-за руля, порывался старорежимно распахнуть передо мной заднюю дверь.

И вот стоило мне слегка отдышаться в пыльном, бархатном, но все-таки уютном машинном чреве, как случилась авария. Скрип тормозов, надвинувшаяся тень, треск, лязг, грохот, даже, кажется, чей-то крик – или мне показалось? Бампер грузовика вмял заднюю правую дверь так, что она, по сути, оказалась внутри машины, а стекло оттуда, рассыпавшись на множество мелких осколков, вольготно расположилось у меня на коленях – как хорошо, что я обычно сижу прямо за шофером. Может быть, это привычка, оставшаяся у меня еще с Вологды и тамошних извозчиков? Понятно, мне никогда не приходило в голову колотить какого-нибудь ваньку в его ватную спину за то, что он слишком медленно едет, – ведь все зло, которое седок срывает на возникшем, тот немедленно, еще и добавив от себя, переправляет своему несчастному коню, а лошади всегда мне нравились. Но несмотря на это, привычка сидеть за спиной водителя у меня сохранилась – и в этот раз она если не спасла мне жизнь, то, по крайней мере, уберегла от серьезных переломов.

В машине не осталось ни одного целого стекла: вернее, осталось одно, что скорее выглядело как насмешка – уцелела маленькая форточка водительской двери. Боковые стекла рассыпались в прах, заднее пошло трещинами, но удержалось в раме, а переднее просто вывалилось на капот и там разбилось. Водитель был жив, но, вероятно, пребывал в кратковременном шоке. При ударе его голова резко откинулась назад, так что послышался хруст, но, может быть, это мне просто показалось. Впрочем, уже спустя несколько секунд мне представилось, что этот хруст произвели его позвонки, вставшие наконец на место после долгих лет мучений от застарелого люмбаго. Это было бы забавно – страдать, перебирая средства и странствуя по докторам в надежде избавиться от ежедневно грызущей боли (работа-то сидячая!), и получить в результате облегчение от несчастного случая. Если бы это вдруг оказалось правдой и если бы он, мой бедный усатый турок, обладал хоть граном практической сметки, то он бы должен был наладить целую клинику, состоящую из стада ветхих фиатов и одного грузовика с чугунным рельсом на морде, – пациент, держась за поясницу, садился бы на водительское место в очередной рыдван, а добрый доктор, разогнавшись на грузовике, аккуратно таранил бы его в правое заднее крыло ради терапевтического эффекта. Впрочем, если бы грузовик промахнулся и въехал пациенту прямо в голову, то его проблемы решились бы куда более радикально. Удивительно, как работает в такую минуту мозг – не у него, конечно, а у меня.

У него, впрочем, тоже. Он подергал за ручку водительской двери, но никакого эффекта это не произвело – зато по ту сторону отсутствующего стекла показалась вдруг другая, тоже усатая физиономия: очевидно, это был водитель грузовика, чуть нас не прикончивший. В одной немой фильме есть сцена, где мим гримасничает перед своим отражением, которое в какой-то момент перестает повторять за ним все жесты и обретает таким образом самостоятельность. Происходившее далее весьма ее напоминало. Мой шофер подергал ручку – тот шофер подергал

ручку со своей стороны. Мой, схватившись за рамку утраченного стекла, порезался осколком и поднес руку ко рту – и другой сделал то же самое. Наконец мой усач, как говорили гимназистки, задал феферу – лег на спину вдоль передних сидений и стал ногами поочередно колотить в дверцу изнутри; выяснилось, между прочим, что этот шеголь разъезжал за рулем в черных лаковых башмаках с какими-то развратными бантиками. Сперва исковерканный металл не поддавался, покуда усач номер два не сообразил повернуть наружную ручку – и тогда наконец дверь вдруг распахнулась, заодно уязвив – судя по всему, довольно чувствительно – виновника всех наших несчастий.

Тем временем вокруг собралась небольшая толпа: эти мастера умудрились не только перегородить большую часть улицы, но заодно и перекрыть дорогу трамваям, так что те выпускали пассажиров, которые охотно присоединялись к общему веселью. Между шоферами завязалась непринужденная беседа, причем со второй фразы они, без труда распознав друг в друге соотечественников, легко перепорхнули на родной язык – гулкий, гортанный и какой-то угрожающий. Интонации его до такой степени не походили на все известные мне языки, что мне не хотелось даже пытаться распознавать их речь; впрочем, в какой-то момент один из них, как показалось, пообещал другого убить, вырвать из его груди сердце и его сожрать – но тут вдруг оба расхохотались и стали хлопать друг друга по плечам. Судя по нараставшей взаимной радости, оба они оказались чуть ли не односельчанами (хотелось сказать «близнецами», но это было бы чересчур), так что диалог, начавшись, может быть, со взаимных обвинений («ты куда ехал?» «а ты куда смотрел?»), быстро потек по широкой равнине непринужденной беседы. Мне было интересно, что они обсуждали: то мелькали вдруг какие-то восточные имена, причем отчего-то рифмующиеся – Лейла, Абдулла (вряд ли они читали друг другу стихи). То вдруг слышалось какое-то европейское слово, но совсем к делу не идущее: один из них вдруг отчетливо сказал по-французски «patte» (лапа) – уж не знаю, что он имел в виду. Опять смеялись, причем один, кажется, поддразнивал другого, но беззлобно, а тот веселился. В какой-то момент в публике нашлось еще двое их соотечественников (если не земляков), которые не замедлили присоединиться к разговору. Наконец, когда атмосфера восточного базара сгустилась уже до такой степени, что в воздухе, казалось, запахло зирой и имбирем, один из них – кажется, шофер грузовика – вспомнил и обо мне, что-то проговорив, так что взгляды всей компании обратились к нашей изрядно помятой машине. Всея толпой они двинулись к автомобилю, распахнули заднюю дверцу и уставились прямо на меня: миниатюрную даму с очень светлыми, очень голубыми и очень злыми глазами.

2

День этот, хоть и начался с трагедии, закончился вполне приемлемо. Мне все-таки удалось добраться до квартиры, привести себя в чувство и еще раз обдумать сложившееся положение, укрепившись в принятом ранее решении. Людям свойственно негодовать по поводу тех, кто пишет свои имена краской на скалах или, более того, вырезает их перочинным ножиком на коре беззащитных деревьев: помнится, в «Сатириконе» была чуть не серия карикатур – несколько человек наперегонки лезут на какую-то высокую гору, чтобы выцарапать там свое сокровенное «Леонид и Лариса были тут». Мне же подобные порывы никогда не были смешны, а, напротив, вызывали род сочувственной печали: жизнь земнородного, будучи короткой и невеселой, состоит в недолгом сплаве по реке времен среди пейзажей монотонной равнины – где уж тут оставить хоть самый незначительный след. И в самом деле – ну кто вспомнит какого-нибудь Зикаронова после его смерти? Помянут сослуживцы, вздохнут родственники – особенно если Зикаронов успел скопить кое-какое наследство. Через двадцать пять лет после него, когда на сцену взойдет следующее поколение, о нем будут (и то редко-редко) вспоминать лишь внуки, да и совсем не обязательно, что припомнится им что-нибудь особенно хорошее. Звучит как трюизм, но требует осознания: редко кто запоминается потомкам в годы своего расцвета, бодрым, деятельным и полным сил (оттого человечество так любит безвременно почивших героев) – чаще имярек запечатлевается в наследной памяти ходячим мemento мори, вздорным стариком с путаной бородой, скверным запашком и старомодными манерами. Впрочем, полвека погода в страну, откуда нет возврата, отправятся и внуки. Тело патриарха к этому времени истлеет, крест на могиле покосится... да что крест! В Париже, если не вносить деньги за могилу, через пятьдесят лет мощи должника отправляются в утиль, а на их место заезжает новый постоялец: что-то в этом есть оскорбительно практичное. Так что бедный Зикаронов останется, если переменчивая людская милость не произведет его почему-либо в герои, только в виде нескольких капелек чернил, своевременно нанесенных на бумагу. Не считая, конечно, его бессмертной души.

Если бы люди умели представить это обстоятельство во всей его сокрушающей наготе, то, честно говоря, им стоило бы лишь свернуться клубочком и заскулить – и не переставать скулить до самой смерти. Господь в великой милости Своей приоткрывает им эту простую истину лишь по чуть-чуть, как красавица ножку у любимого русскими Пушкина, – но даже увиденного достаточно, чтобы они пользовались любой, сколь угодно трудоемкой или варварской возможностью процарапать земную кору, оставить по себе какую-нибудь память. В Шильонском замке показывают в подвале камеры, где пятьсот лет назад людей держали взаперти: все их стены снизу доверху исчерчены их именами и записями – демонстрируют даже затесавшийся среди них автограф Байрона, но я бы не удивилась, если бы выяснилось, что это подделка. Когда мы были там со Стейси и ее мамашей, я подумала вдруг, что из миллионов людей, живших триста или четыреста лет назад, мы знаем, за исключением выводка венценосных, только тех, которые не поленились написать свое злополучное имя на этом сером песчанике (или подобном ему). Каждый из людей, по сути, есть несчастный Робинзон на необитаемом острове: виноват ли он, что запечатывает свои каракули в случайно оказавшуюся у него бутылку и бросает в равнодушные волны? Это очень древнее и глубокое человеческое чувство, причем именно человеческое – не инстинкт и не атавизм. Поэтому при виде очередной мазни на девственных скалах я чувствую только жалость и больше ничего – и мысленно повторяю: «Счастья вам, Леонид и Лариса, мира и покоя. Я вас помню».

Проведя по долгу службы с людьми больше времени, чем мне бы хотелось, я понабралась не только их словечек и привычек, но и научилась думать, как они: сперва без этого мне трудно было предугадать их поступки, а после это сделалось отчасти моей собственной нату-

рой – как, говорят, лазутчик, надолго заброшенный в другую страну, привыкает видеть сны на чужом языке. Поэтому чем дальше я обдумывала мысль об этих записках, тем больше она мне нравилась. Конечно, несмотря на определенную убежденность в их благополучной судьбе, такой способ сообщений с неизвестным адресатом может показаться слегка легкомысленным, но это только на первый взгляд. Вряд ли Робинзон, бросая в море бутылку с запиской, столь уж уверен в практическом результате: он прекрасно понимает, что, скорее всего, к моменту, когда его послание попадет в чьи-нибудь руки (да и будет ли грамотным обладатель этих рук?), его собственные кости, обглоданные безутешным Пятницей, давно будут покоиться в песчаных недрах постылого острова. Но что-то – может быть, мой внутренний Пятница – глохнет меня и неволит прямо сейчас, заставляя скорее браться за перо. События сегодняшнего дня довольно явственно намекают мне, что времени на это осталось не так уж много: в следующий раз грузовик (или что там будет избрано Божьим орудием) может и не промахнуться. Наивно так считать, но мне кажется, что самое безопасное для меня в ближайшее время место – моя квартира (*горячий* поклон жителям Помпей), поэтому я решила запастись всем необходимым и не выходить из нее, покуда эти записки не будут окончены.

В результате собиралась я примерно как Амундсен в путешествие. По счастью, в квартале, куда меня занесла судьба, представлены все возможные магазины и лавочки: в аптеке я купила две дюжины тетрадей, пузатую баночку чернил и три ручки-самописки. Почему три? Из-за названия, напоминающего о русских сказках, где вечно действует скатерть-самобранка и гусли-самогуды. При этом известно, что если сказочный герой отправляется в дальний путь, то он непременно износит три пары сапог, сгрызет три хлеба и так далее – вот я и решила, что ручек мне нужно тоже три. Естественно, я понимаю это сейчас, задним числом, а в тот момент, когда я говорила свой заказ коротышке-аптекарю, я ни о чем таком не думала – и хорошо, потому что задумываться перед каждой фразой и анализировать то, что хочешь сказать, – верный путь к душевной болезни.

Итак, что писать и на чем писать у меня было. Оставалось озаботиться пропитанием для головы, которая будет вспоминать, и левой руки, которая будет водить пером по бумаге. Я заранее решила, что вся моя повесть должна уместиться в эти двадцать четыре тетрадки по двадцать четыре листа. В гимназии мне приходилось исписывать по нескольку страниц в день, так что я помнила, что руку начинает сводить после четырех-пяти часов непрерывного сидения за столом: правда, тогда мне не приходилось складывать слова в предложения, а предложения – в связный текст. Сперва я собиралась писать по шесть страниц в день, но, посчитав, поняла, что это займет несколько месяцев – таким запасом я вряд ли располагала. А вот если попробовать поставить себе урок в двенадцать страниц, то вся печальная работа над грустной повестью растянется месяца на полтора (мне казалось, что столько времени у меня есть).

Прокравшись мимо швейцара (почему-то мне не хотелось лишний раз с ним встречаться), я принесла тетрадки в квартиру и положила перед собой. Теперь предстояло самое трудное, если не считать, собственно, будущей работы: нужно было сообразить, сколько и каких припасов требуется сделать. Сперва я хотела написать реестр прямо в одной из тетрадок, но остановилась: они лежали передо мной такие красивые, такие новехонькие, в плотных обложках синего полукартонна, каждая с квадратной разлинованной наклейкой, куда гимназист должен был вписать свое имя, класс и школу. Зачем? Ну, например, если бы он получил «неуд.» и решил выкинуть свою тетрадку, сказав родителям, что ее потерял, то любой заметивший это взрослый мог бы ее поднять, прийти в школу и отдать прямо в руки учителю, чтобы тот всыпал бедняге-ученику горячих. Люди иногда так жестоки!

Под статью обложке была и бумага: белая, девственная, с еле видными продольными линейками, отмечающими места, где пойдут строки. Мне по вечной моей избыточной чувствительности стало ужасно жалко этих тетрадей. Я представила, как на далеком севере росла сосна, ее поливало дождем и грело солнцем, в ее ветвях свивали гнездо птички, остроклювый дятел

заботливо вытаскивал из-под ее коры червячков... Пришел человек, срубил эту сосну, содрал с нее шкуру, спилил ветки, отвез по реке за тридевять земель, где ее размолотили в пыль и сварили из нее бумагу. Сколько человек в этом участвовало? Лесорубы, сплавщики, грузчики, потом фабричные. А ведь еще откуда-нибудь из Нарвика везли железную руду, чтобы сделать стальную скрепку. И для чего это все? Вряд ли все незнакомые между собою люди, занятые в этой долгой цепочке, действовали чисто механически, надеясь только получить в конце месяца жалованье и упиться до свинского состояния: ведь что-то они думали про плоды своих рук? Представляли, наверное, как тетрадку эту купят какой-нибудь чистенькой гимназисточке, как пойдет она с нею на урок и выведет какие-нибудь важные слова... А вместо этого я буду записывать там свои шесть фунтов капусты (я еще с России все меряю фунтами) и литр прованского масла? В общем, хотя я с этим мгновенно нахлынувшим чувством быстро справилась и пишу все-таки в тетрадках, список пришлось составлять на случайно завалывшемся клочке бумаги.

Лавочники в нашем квартале не успели меня узнать и запомнить, так что все время норовили предложить то яйца, то селедку, то (о ужас!) свежие телячьи мозги, но я быстро поправила им их несвежие и нетелячьи, благодаря чему дальше трудностей не возникало. Сразу перенести в квартиру все покупки я, понятно, не могла – не из-за их тяжести (это-то меня как раз не пугает), а из-за объема: хрупкая дама, в один присест затаскивающая на пятый этаж несколько пудовых мешков, поневоле привлечет излишнее внимание. От предложения послать со мной мальчика я тоже отказалась: конечно, я не боялась, что он неожиданно свихнет с ума и на меня набросится (справиться со мной не так-то легко), но, не зная точно, откуда в следующий раз возникнет опасность, не хотела оставлять лишних следов. Наконец все запасы были перенесены и сложены в прихожей. Я всегда считала себя не слишком прожорливой, но эти груды пищи, хоть и вегетарианской, поистине привели меня в священный трепет: коробки галет, сетки картофеля, вязки лука-порая, пачки шоколада, бутылки с маслом и уксусом – может быть, на запасы для полярной экспедиции это и не тянуло, но перезимовать где-нибудь в таежной заимке с такой кладовой было явно под силу. Впрочем, если вдуматься, мне предстояло провести как минимум полтора месяца взаперти, и какая разница, что за окном – осенний пейзаж с медвежьими следами или узкий серый двор чужого города?

3

Я потеряла своего предпоследнего подопечного летом 1916 года в Вологде. Это была тяжелая история, и я вспоминаю ее со смешанным чувством стыда и сожаления. Был он недоучившийся студент, свежееобращенный эсер и непроходимый болван. Мне в опеку он достался уже таким: не знаю, кто за ним присматривал раньше и почему от него отказались. В принципе, как мне кажется, обычно это не допускается, но... но никакого кодекса правил у нас нет, или я его не знаю. Собственно говоря, я никогда в жизни не видела существа одной породы с собою, хотя просто по статистике должна была встречать их тысячами – но как проверишь? Нельзя же прямо обратиться к незнакомому человеку с вопросом: а вы, случайно, не...? Да, признаться, я совсем не уверена, что мы приставлены к каждому из земнородных: тогда бы получалось, что нас на земле примерно столько же, а это точно не так. Это видно хотя бы по тому, что, когда объявляешь себя вегетарианкой, на тебя смотрят словно на одного из тех сектантов, о которых время от времени пишут в «Русском слове». Будто это вещи одного порядка: кто-то устраивает групповые оргии, кто-то ползет на коленях из Тотьмы в Чухлому, а ты вот, например, не ешь мясо живых существ – ну что же, Россия большая, места хватает для всех.

Один раз у меня возникло твердое чувство, что я узнала про одну свою сестру или коллегу. В московском приюте зимой лет двадцать тому назад произошел большой пожар. Репортажи были во всех газетах, и в каждом отдельно рассказывалось про подвиг одной из нянек. В приюте жили дети от полутора до шести лет; пожар начался ночью на первом или втором этаже, а спальни были на третьем. Учительница и все няньки, кроме одной, растерявшись, схватили по одному ребенку и попрыгали из окон: многие сильно поранились сами; были переломы и у детей. Но одна из них, собрав группу рядом с собой, сначала покричала из открытого окна, а когда под ним собрались зеваки, стала сбрасывать вниз одного ребенка за другим, а там их уже ловили на растянутую шинель. Когда она таким образом спустила девятерых (очевидно, тех, что ночевали в этой спальне), она побежала в соседнюю, но там уже пламя стояло стеной. Тогда она выбросилась из окошка сама. Я не удивилась бы, если бы в газете написали, что после этого она, взмахнув крыльями, улетела, но нет: ее поймали на ту же шинель.

Почему-то – впрочем, понятно почему – я сразу решила, что она – одной со мной породы, и мне страстно захотелось ее разыскать. Я переживала тогда очередной приступ метафизического одиночества, из тех, что время от времени поневоле накатывают на любого, вынужденного подолгу жить на чужбине. Впрочем, по здравом размышлении я увидела два препятствия: устранимое и фатальное. Первое состояло в том, что ни в одной из газет (а я, живя тогда в Москве, специально купила их все) не было названо ее имя. Конечно, с этим можно было справиться – либо отыскав одного из корреспондентов, делавших репортажи, либо найдя сам приют, вернее, его руины и поболтавшись поблизости... В общем, это представлялось мне затруднением в принципе разрешимым. Но вот второе заставило призадуматься: если бы я оказалась в такой ситуации (от чего оборони Господь), то я, конечно, не стала бы организовывать все эти мудрые спасательные работы, а схватила бы одного-единственного ребенка – того, за которым приставлена смотреть, – и убежала бы с ним одним. Так что, может быть, это была просто весьма сообразительная и ответственная особа, но при этом обычная смертная? Тогда, само собой, я со своими распростертыми объятиями и темными намеками смотрелась бы куда как глупо. Ну а со временем и порыв этот угас.

Тогдашнего моего эсера хватать и тащить, по счастью, не пришлось – да я бы, может быть, и не справилась. Едва поступив в университет, он со всем своим юным пылом погрузился в удивительный мир освободительных движений: собственно, мало тогда было в России юношей и девушек, которые не состояли бы в тех или других революционных кружках. Где-то их было меньше, где-то больше, но университеты славились своим вольнодумством еще с сере-

дины прошлого века, так что любой вновь поступающий поневоле обязан был либо примкнуть к одному из освободительных клубов, либо оказаться к ним в оппозиции: просто учиться, игнорируя их существование, было нельзя. Собственно, никто обычно и не пытался: участие в забастовках и демонстрациях было почти обязательным компонентом студенческих лет.

Шли они почти сплошной чередой: сперва Министерство просвещения пыталось уволить профессора Такого-то, который, вместо того чтобы читать студентам ботанику, звал их на баррикады (собирая от переполненной аудитории овацию за овацией). Профессор увольняться отказывался, но на само это намерение студенты отвечали забастовкой, причем не только переставали учиться сами, но и не пускали в аудиторию тех своих товарищей, которые и рады бы были позаниматься. Полицейские пытались расчистить проход в университет, занятый бунтующими, и трех-четырёх самых отчаянных задерживали. Назначалась демонстрация в честь арестованных студентов. Поскольку демонстранты перекрывали Моховую, разгонять их присылали казаков с нагайками. Теперь объявляли стачку в честь задетых нагайками, а закоперщики позапрошлого призыва, которые покамест оставались в камере, в свободное от пения «Интернационала» время начинали еще и голодовку. Машина эта работала бесперебойно: в ней, конечно, участвовали не только университетские, но и курсистки, железнодорожники, учащиеся сельскохозяйственной академии и прочий студенческий люд.

Многих засасывало туда поневоле: понятно, что приехавший откуда-нибудь из Ельца бедолага, бывший «уездник», сын школьного учителя, которому родители с огромными трудами скопили денег на университет (а платить надо не только за лекции – жизнь в Москве обходилась как минимум рублей в двадцать за месяц), не очень-то рвался на борьбу за освобождение рабочего класса. Он на этот класс насмотрелся у себя в провинции и от этого класса, в общем, и сбежал. Но вся общественная атмосфера устроена была так, что ты, не участвуя в революционном движении, автоматически ставишь себя на одну доску с презренными белоподкладочниками: с тобой не будут дружить самые brave ребята и самые бойкие барышни, ты исключен из всех возможных компаний – а белоподкладочники не примут тебя за бедность и провинциализм.

Все это, впрочем, не относилось к моему юному эсеру, который, во-первых, был весьма состоятелен, а во-вторых, с восторгом погрузился в борьбу: печатал в подпольной типографии листовки (и, кстати, сломал печатный стан, за что был подвергнут строгому товарищескому суду), расклеивал их по стенам, состоял связным между университетом и «рогатыми» (так называли кадетов старших классов), вообще был все время на виду – и, конечно, при очередном закручивании гаек попался одним из первых. Его арестовали при получении большой партии какого-то женевского издания: мне до сих пор кажется, что связная, с которой он встречался, чтобы взять заветную посылку (вместо чего взяли его самого) была полицейским провокатором, но сути дела это не меняет. Я смотрела на эту сцену с другой стороны улицы, с тротуара, заглядывая через стекла кондитерской на Никольской, прямо как девочка со спичками. Это было словно в шпионской фильме: вот мой недоумок входит и садится за столик. Дает заказ половому. Вот через некоторое время в кафе заходит юная барышня в шляпке с вуалью и с небольшим расшитым саквояжиком в руках. Идет к его столику. Он с удивительной галантностью встает и целует ей руку: соскучился, вероятно, по бонтонному общению среди шустрых мордатеньких курсисток, своих боевых товарищей. Она садится, тоже что-то заказывает. Им приносят по чашечке, но барышня явно спешит: только пригубливает напиток, после чего встает и идет к выходу. Саквояжик остается лежать на пустом кресле. В ту самую секунду, когда эсер тянет его к себе, вдруг половой, вместо того чтобы принести счет, хватает его за руку, другой останавливает барышню, а с кухни уже бегут повара, которые, похоже, были вовсе никакие и не повара.

Его почти сразу увезли на Каменчики, в тюрьму. Мне следовать за ним казалось бессмысленным, тем более что в тюрьме он был в относительной безопасности – так что я продол-

жала наблюдать через те же окна, как барышню немедленно освободили и отпустили с поклонами, из чего я и заключаю, что она работала на обе стороны – или на одну, но не ту. Впрочем, меня это не касается. Через месяц его судили и приговорили к трем годам ссылки. Он был из очень богатой семьи: его отец, унаследовав маленькую игольную фабрику, превратил ее в огромное предприятие – вроде как по европейскому образцу, но при этом конкуренты отходили от дел один за другим вполне по-азиатски. Благодаря этому бывший студент отправлялся в ссылку практически царским манером: отец, понятно, пустил бы для него хоть отдельный поезд, но все-таки определенные приличия тогда старались соблюдать. Поэтому ему пришлось ехать в специально зафрахтованном вагоне, прицепленном к тому же составу, где транспортировали остальных ссыльных. Возможно, он и попытался было взбрыкнуть, что, дескать, ему не нужны никакие привилегии, и вообще, «заберите проклятые деньги» – но месяц в общей камере, вероятно, сделал его сговорчивее. А может быть, он взглянул на все свое приключение уже в новом свете: то, что прежде казалось веселой игрой в казаков-разбойников, при безжалостном круглосуточном освещении внутренних покоев Таганской тюрьмы стало выглядеть немного иначе. Впрочем, он с помощью семейных средств постарался скрасить себе будущие три вологодских года. Да, верно, даже не три: понятно, что освободить сразу его не могли никакие тайные рычаги и секретные кнопки, а вот уполовинить срок – вполне. Несмотря на это, багажа у него было с собой столько, будто он переселялся на север навсегда (а ведь так оно и вышло): кованные сундуки, коробки, чехлы с ружьями, ящики с книгами, мандолина – в общем, все, что нужно молодому досужему джентльмену в дальних странствиях.

Устроился он на новом месте куда как хорошо: снял огромную квартиру, где стал закатывать пирушки, по-купечески разгульные, но с либеральным оттенком, звал других ссыльных, приглашал местных интеллигентов позаметнее, завел дружбу и с фрондирующими чиновниками из губернаторской канцелярии – в общем, быстро сделался там своим. Мне же пришлось туговато: если в Москве я могла присматривать за ним достаточно незаметно, не привлекая особенного внимания, то тут он на третий или четвертый день меня вычислил. Я сидела на скамейке в саду, наискось от его дома, читая книгу и поглядывая на его парадное, но так увлеклась романом, что пропустила момент, когда он вышел из дома и направился в мою сторону. «Ваше лицо кажется мне знакомым», – проговорил он, приподняв шляпу (между прочим, я в первый раз слышала его голос). К счастью, мне хватило сообразительности на ходу придумать легенду, которая его не только устроила бы, но была бы для него лестной: я не сказала этого прямо, но дала понять, что меня прислал Центральный комитет, чтобы «к нему приглядеться и за ним присмотреть» (ох, знал бы он, что это был за комитет и насколько он был центральным!). Он оказался вроде бы немного озадачен, что делало ему честь: не всякой мелкой сошке дано понимание того, что она мелкая сошка. Но возражать, понятно, не стал, и переспрашивать тоже, а, снова приподняв шляпу, – что выходило, признаться, у него весьма элегантно, – с поклоном удалился. С тех пор я, хотя и не злоупотребляла этим, но и не гнушалась время от времени попадаться ему на глаза – а он, в свою очередь, с преувеличенным равнодушием отводил их, когда ему случалось встретиться со мною взглядом.

Более того, кажется, он даже шепнул что-то своим друзьям, и, как это обычно бывает, слух быстро дошел до жандармов: по крайней мере, где-то неделю спустя в моем номере в «Золотом якорю» был в мое отсутствие проведен очень аккуратный, крайне профессиональный обыск – вероятно, искали револьвер с отравленными пулями, полпуда шимозы и фотокарточку Савинкова с автографом. А еще через неделю моего бедного подопечного пристрелили на охоте.

Я, конечно, всегда была против этой варварской забавы: более того, если бы его на охоте задрал медведь, я бы, наверное, сквозь профессиональную скорбь ощущала бы кое-что еще. С другой стороны, если бы я присутствовала при этом, то пришлось бы выступить против медведя – и тогда ему точно несдобровать: инстинкт защиты у нас развит сильнее всего, и

с этим ничего не поделаешь. Но в этом случае обошлось и без меня, и без медведя: я знала заранее, что компания молодых бездельников собирается в лес стрелять тетеревов, но препятствовать этому не стала. Почему-то люди считают, что мы приглядываем за ними всегда, невзирая ни на какие обстоятельства. В сущности, это не так: мы не всемогущи (но, к счастью, не всемогущи и наши антагонисты с чумазой черной буквы). Если человек захочет ускользнуть от своего хранителя, то он непременно ускользнет – иначе не было бы такого количества самоубийств (между прочим, если бы не мы, не было бы стольких *неудавшихся* самоубийств). Условно говоря, если человек едет на поезде, наивно думать, что я полечу за ним, размахивая крыльями и дыша смрадом из паровозной трубы: отнюдь нет, я или сяду на тот же поезд, или подопечный на время останется предоставленным самому себе. Так было и тут: наверное, каким-то сверхизошренным способом я могла бы попасть в тот сосновый, дремучий, туманный, где разыгрался последний акт драмы, но в голову мне такой способ не пришел. Кроме того, они были с собаками, которые в хранительском смысле представляют собой нечто среднее между нами и людьми. (Кто-то из древних мудрецов в классификации высших духов отводит отдельную ступень для «хайот-ха-кодеш», священных животных, – вот это как раз они.)

Не сказать, чтобы я отпустила его с легким сердцем: у нас сильно развито предчувствие (еще бы!), так что было мне не по себе, но я попыталась эти напрасные волнения заглушить – хорошая прогулка, добрая книга, крепкий (по возможности) сон. Который был прерван самым неприятным образом – болезненным уколом в сердце на рассвете, аккурат в ту самую минуту, когда один из веселых приятелей моего подопечного по ошибке выпустил заряд крупной дроби прямо в его бестолковую голову.

В поисках несчастных тетеревов они забрели довольно далеко; было их трое, двое ссыльных и егерь, плюс две собаки. На лошади добраться туда было нельзя: им (пока они еще были в полном комплекте) пришлось некоторое время брести по болоту, перепрыгивая с кочки на кочку, а бедное животное там бы и потонуло. Поэтому егерь, сохранивший даже после рокового выстрела присутствие духа, смастерил из срубленных елочек подобие носилок, на которые они вдвоем с убийцей погрузили тело и потащили его в сторону дороги. Характерно, что егерь, суровый ревнитель старинных преданий, внимательно следил, чтобы покойник путешествовал строго ногами вперед (чего добиться в условиях болота было довольно мудрено). Когда несколько отошедший от первоначального шока невольный стрелок переспросил, почему это так важно, словоохотливый егерь с удовольствием пояснил, что это для того, чтобы покойник не вернулся с кладбища, – для этого же рассыпают на дороге еловые лапы. Убийцу снова замутило. В результате шли они чуть ли не полдня – с привалами, остановками, криками «я больше не могу» и огорченными влзаиваниями собак, которым криворукий Вильгельм Телль испортил весь праздник.

Все это, понятно, я узнала не сразу: кое-что принесли на своих накрахмаленных хвостах горничные «Золотого якоря», еще что-то писали в газетах, а основные подробности сообщались на судебном заседании еще две недели спустя. Дело было, в общем, ясное: убийство по неосторожности, за которое из столичных губерний отправили бы в ссылку, но поскольку виновник *уже* находился в ссылке, то можно было либо продлить ему срок, либо закатать на каторгу. Выбрали второе: возможно, постарался игольчатый фабрикант, чья продукция странно рифмовалась с последним, что, вероятно, видел его бедный отпрыск – стремительно приближающееся переплетение порыжелых сосновых игл, скрепленных попарно.

Связь наша, таким образом, распалась – и некоторое время я чувствовала себя совершенно неприкаянной. Надев глубокий траур, я побывала сперва на похоронах, потом на судебном разбирательстве: поскольку Вологда переполнена ссыльными, к новым лицам там привыкли, так что на меня никто особенно не тарашился. Тем более беднягу там успели полюбить, и народу на отпевание и на кладбище пришло довольно много. Но дальше делать мне было, в общем, нечего. Смысл нашего существования в том, чтобы оберегать земнородных: я никогда

еще не теряла своего подопечного таким трагическим образом, поэтому совершенно не знала, как себя вести. Может быть, из-за роковой промашки моя работа вообще была окончена, и мне следовало бы ждать – не увольнения, конечно, а, так сказать, возвращения из командировки? Или, напротив, мне нужно было подвергнуться какому-то взысканию, после чего совесть моя снова оказалась бы чиста? Беда в том, что мне совершенно не у кого было это спросить, так что оставалось только плыть по течению.

Почему-то я сразу не собралась и не уехала из Вологды: сперва, наверное, мне хотелось проследить за отпеванием – не то чтобы я не доверяла местному причту, да и уж точно не дерзнула бы вмешиваться в богослужение, но в тот момент казалось особенно важным, чтобы все было сделано как надо. А дальше мне, несмотря на общую подавленность чувств, захотелось немного отдышаться. Все-таки мы заняты работой почти круглосуточно – либо непосредственно приглядываем за объектом, либо беспокоимся о нем, пока его не видим, – в общем, все время как на иголках (опять иголки!). Потребность во сне у нас, конечно, меньше, чем у людей, – мне за глаза достаточно трех-четырёх часов, – но получается, что все время бодрствования так или иначе занято службой. Это поневоле отражается и на наших траекториях: почти непрестанно мы двигаемся за подопечным – и если он, например, страстный театрал, то я поневоле стану разбираться в местном репертуаре и узнавать приму по походке, но, скажем, окрестности того места, куда нас забросила судьба, останутся необследованными. Покойный эсер в этом смысле был человеком не особенно любопытным: ежедневно он бывал в ресторанах, довольно часто в кино (которое из-за темноты было бы совсем удобно для нашей профессии, если бы не иные фильмы, вызывающие у меня приступы головокружения), время от времени посещал театры. Не могу сказать, что меня так уж интересовали вологодские древности, но все-таки жить в городе с семисотлетней историей и ни разу не зайти ни в одну церковь казалось мне странноватым: впрочем, если быть ригористом, надо оговорить, что в одну-то он в результате попал, точнее, его занесли.

Поэтому я осталась в том же «Золотом якор» ожидать, пока моя судьба решается «в небесной канцелярии», как неожиданно прозорливо выражаются люди относительно предсказаний погоды. Образовавшийся избыток времени, о продолжительности которого у меня не было никакого понятия, я решила потратить на осмотр местных достопримечательностей, что, конечно, прежде всего означало древние монастыри и церкви. Не то чтобы я вовсе не интересовалась природными диковинками, но окрестности Вологды – это, признаться, не Амазония и не пустыня Сахара. Местные газеты, движимые особенным северорусским патриотизмом, время от времени помещали заметки о выращенной на берегу Кайсарова ручья царь-тыкве или обнаруженном под Вытегрый исполинском дубе в пять обхватов, но все эти мелкотравчатые рекорды, да еще и приукрашенные перманентно уязвленным свидетельским самолюбием, меня несколько не привлекали. Напротив, наивные поделки церковной старины я люблю: веет от них той особенной теплотой, которая почти исчезла из обихода в наш железный век. Кроме того, меня всегда интересовало, как люди представляют себе то, чего они никогда не видели и при жизни точно не увидят: как если бы слепорожденному дали кисть, холст и краски и попросили бы нарисовать... не кошку, которую он может ощупать, а, скажем, единорога. Но даже еще сложнее – он должен быть всем сердцем устремлен к этому единорогу, он должен обожать единорога и быть уверенным не только в его существовании (это само собой), но и в том, что если он хорошо нарисует, то вскоре непременно с ним встретится. Вот примерно так древние живописцы расписывали свои храмы – и смотреть на них мне необыкновенно нравится. В этом нет того умиления, с которым взрослые смотрят на детские художества (хотя, конечно, если бы я в момент работы над иконой тихонько говорила бедному художнику «горячо» или «холодно», изображение выходило бы реалистичнее), – нет, отнюдь: скорее, мне приятно было это видеть, как радостно бывает заметить прекрасный цветок на болоте или в пустыне. Ничего

вокруг, в окружающей жизни, не готовило их к созданию такой красоты – а между тем она вышла, выпорхнула из их рук.

Недели две я провела в разъездах и прогулках. Ездила в Кириллов, ходила по дальним церквям, потом просидела два дождливых дня в своем номере за чтением томика Флобера, оставленного или забытого кем-то из моих предшественников. Один день бродила по бульварам (благо вологодские бульвары можно обойти за четверть часа), разглядывала вывески на Кирилловской: «Ишимедовы. Мухаммед и Захир», «Торговый дом Свешников и сын». Мухаммед с Захиром торговали фруктами, Свешников с сыном всем остальным. В магазине «Элегант», без труда выдержав нежный напор приказчика с завитыми усиками (для вологодских красоток, вероятно, неотразимыми), купила себе шляпку. В субботу съездила на ипподром пополнить запасы наличности. Оплатила номер еще на неделю: гостиничное начальство, привыкнув к обилию ссыльной публики, видело в каждой одинокой даме потенциальную бомбистку, так что требовало деньги вперед. Три дня я объезжала кладбища – Горбачевское и Введенское на севере, еврейское на юге.

Я люблю кладбища. Есть в них что-то успокаивающее: ряды выстроившихся памятников, привольно растущие деревья, медленно ветшающие надписи на надгробных камнях. Отсутствие суеты, одиночество, порядок: все то, чего так не хватает в обычной жизни. Побывала я и на могиле моего бедолаги: не то чтобы я боялась, что он разроет свое последнее пристанище и вернется к людям, как намекал злюка егерь, но просто так, для порядка. На еще свежем холмике лежали венки, но свежесрезанные цветы, груды которых прикрывали во время отпевания закрытый гроб из красного дерева, уже убрали: оставался только черный крест с золотыми буквами. Могила была слегка присыпана желтыми листьями с растущей неподалеку березы: осень в этом году обещали раннюю. Я машинально подняла один листок и, держа его в руках, направилась к выходу.

Мне пришлось взять извозчика: случись что, я дошла бы, конечно, и пешком, но слобода, лежащая у Архангельской заставы, – не лучшее место для прогулок. Почему-то он повез меня кружным путем, хотя я сразу пообещала ему полтинник – может быть, принял за иностранку? Свернув на Леонтьевскую, мы проехали до реки, потом вдоль по набережным, опять свернули на Архангельскую – и за мостом, у Гостиного двора, я его отпустила. В момент, когда я не сосредоточена на своем подопечном, я поневоле обращаю особенное внимание на тех, кого встречаю на улице: так и извозчик этот особенно мне запомнился – молодой, с чистым свежим лицом, едва растущей светлой бородкой и слегка косящими глазами. Дорбгой он несколько раз, похоже, порывался завести со мной беседу, оборачивался, но не мог решиться или не знал, с чего начать. Мне, понятно, не с руки было заговаривать с ним, хотя какую-то тень теплого чувства к нему я ощутила – и подумала даже на мгновение, не он ли – следующий мой объект. Я представляю иногда сознание как часовой механизм, с шестеренками и пружинками, – и бывает, как в этом случае, что оно вдруг пускается вскачь (как время проносится мимо, куда мы спим). Я сразу, лишь на секунду это вообразив, подумала, с какими лишениями будет связан присмотр за извозчиком: как нужно будет поселиться где-нибудь невдалеке от его обиталища, сносить рассветные пробуждения; как обнаружится у него жена, какая-нибудь разбитная бабенка, которая, заметив меня пару раз, непременно захочет выяснить, отчего я слежу за ее сокровищем, – или придется (все эти мысли, напомним, развернулись и сжались у меня в голове за доли секунды), оставшись в нынешнем образе, ангажировать его для ежедневных прогулок по окрестностям. «А барыня-то, похоже, неровно ко мне дышит», – проговорил его несравненно более дошлый двойник у меня во внутреннем театре (меня сразу скрючило), – но тут мы уже приехали, и я с облегчением поняла, что порыв этот был совершенно ложным: так, легкий ветерок, предвещающий дуновение шторма. А вскоре грянул и ураган.

4

В этот день я собиралась пройтись вдоль реки Вологды по левой ее стороне – от Соборной горы и дальше, по Ильинской набережной: почему-то пока в этой части города я не была. Вообще Вологда устроена примерно как Нью-Йорк, только дома пониже: улицы здесь пересекаются в основном под прямым углом и на равном расстоянии друг от друга – никаких колец и переулочков, как в Москве или Риме. Но одна из них, как выяснилось, не хотела укладываться в систему и, вывернувшись, пошла, как выражаются местные, *вкругалья*. Я, естественно, отправилась по ней и, не успев пройти и нескольких метров, услышала *это*. Довольно много лет назад мне пришлось объяснять профессору Корсакову, с чем можно сравнить то, что он упрямо называл зовом (этот эпизод моей здешней жизни не принадлежит к числу приятных). Он – толстый, бородатый, самоуверенный – предполагал, что я слышу голоса, указывающие мне на следующего подопечного. Конечно, если максимально грубо представлять себе эту ситуацию, то можно сказать и так: но слышит ли голоса стрелка компаса, указывающая на север? Наверное, нет – а даже если и слышит, то мы об этом никогда не узнаем. Слышит ли голоса почтовый голубь, который, сделав круг над местом, где его выпустили, берет курс точно на родную голубятню? (Между прочим, люди до сих пор не выяснили, как он это делает: точно не по магнитным линиям земли, не по звездам, не по памяти, а как? Догадайтесь.) Слышит ли голоса лосось, плывущий на нерест в верховья родной реки? Нет, наверное. Вот примерно так же чувствую себя и я. Сначала – легкое дуновение воздуха, как будто вы сидите где-нибудь на берегу моря, на юге: воздух пахнет лавром и лимоном, и вдруг ваших разгоряченных щек касается легкий бриз. Потом как будто тихая торжественная музыка, вроде арфы, где-то далеко-далеко. Затем голова начинает кружиться, причем так сильно, как будто вы сейчас упадете в обморок: помнится, в этот раз я даже схватилась рукой за какой-то пахнувший керосином фонарный столбик, но сразу отпустила его. А потом вы точно понимаете, что нужно делать, – вернее, куда идти.

Внутренний мой компас указал на церковь, которую едва было видно из-за густо разросшихся вокруг деревьев: только золотой каплевидный купол с крестом. В такие минуты, кажется, нужно сосредоточиться на внутреннем чувстве и двигаться как будто в трансе, прислушиваясь... ну ладно, к зову. На самом деле все обстоит прямо противоположным образом: действительно, в эту секунду понимаешь говор древесных листов и чувствуешь прозябание трав (если воспользоваться готовой формулой). Эта кривая дорожка, окружающая пяточок, где стоят почти рядом две церкви, была вымощена грубым булыжником: помнится, я подумала, как тут, должно быть, скользко после дождя. Потом сразу, без перерыва: отчего здесь именно две церкви, как так получилось? Как местный житель решает, в которую идти, и считается ли изменой переход из одного прихода в другой? Сама же я тем временем медленно приближалась к церкви, и внутренний шум мой все нарастал. Кстати, игра в «горячо-холодно», о которой я, кажется, писала в предыдущей тетрадке (или уже в позапрошлой? стопка слева растет, стопка справа тает), немного похожа на то, что мы чувствуем. Даже лучше вот как: представьте, что вы заблудились в лесу. Добавим к этому ночь, а пожалуй что и холод. И вот вы видите вдалеке отблески костра и слышите голоса. Вы не знаете точно, кто там – группа скаутов под руководством улыбчивого педагога с рекламного плаката или парочка беглых каторжников. Но вы ведь все равно туда пойдете, правильно? И по мере того как вы будете приближаться к этому месту, свет и звук будут нарастать.

Против обыкновения, хотя и вполне в соответствии с моей ролью, светом был огонь сотен свечей, а звуком – голос священника. Мне пришлось зайти в церковь, причем это стоило изрядного труда: только что закончилась служба, так что народ валом валил прочь. Судя по его количеству, в богобоязненной Вологде хватило бы прихожан не только для двух этих храмов, а, может быть, еще и для десятка новых: даже если бы губернатор в пароксизме рвения задумал

снести окружающие домики и понастроить вместо них еще церквей, в них все равно было бы многолюдно. Сперва я решила, что мой следующий подопечный будет среди тех, кто не без мирского облегчения покидал душную церковь, но нет: почти все уже вышли, а мой сокровенный почтовый голубь столь же истово стремился внутрь. Я вошла и огляделась: священник – низенький, толстенький, уютного и какого-то располагающего вида вполголоса беседовал с маленькой группой прихожан: двое мужчин, две женщины, причем одна из них держала на руках младенца. Разглядывая иконы и медленно приближаясь к ним, я пыталась расслышать, о чем они говорят, когда одна из женщин вдруг всплеснула руками и со словами «ну какой вы, батюшка, недогадливый» приступила к священнику, чтобы что-то прошептать ему на ухо (для этого ей пришлось нагнуться). Через секунду он оторвался и, проговорив «да, это нельзя», отступил на шаг. Я почувствовала, что все они, кроме, пожалуй, младенца, смотрят на меня. Та, которая приставала к батюшке, вдруг оставила свою компанию и направилась ко мне.

– Вы говорите по-русски?

Я привыкла, что меня принимают за иностранку, причем, что любопытно, везде, в любой стране – но все равно это выглядело нелепо. В Вологде бывали, конечно, иноземцы: в основном европейские мастера, приглашенные налаживать какие-то хитроумные машины на местных фабриках, – но, во-первых, они все-таки были мужчинами, а во-вторых, в разгар рабочего дня не шастали по церквям. Впрочем, судовой колокол в моей голове громышал так, что мне трудно было говорить. (Любопытно, кстати, что ни на долю секунды у меня не возникло мысли, что эта костлявая говорунья может быть тем человеком, которого я ищу.)

– Да, вполне.

– Вы крещеная?

Час от часу не легче. «Если бы ты, голубушка, знала, при каких обстоятельствах я была крещена, ты бы не спрашивала», – хотела я сказать, но не могла. Впрочем, то, что заменяет нам крещение, не идет – в том числе и по переносимой боли – ни в какое сравнение с теплохладным земным ритуалом, но смысл от этого не меняется. Вы можете арендовать вагон-люкс или, как какой-нибудь Поляков, купить железную дорогу, а можете ехать зайцем, спрятавшись под грузовой платформой: вы все равно едете, а это главное.

– Да.

– Не могли бы вы нам помочь?

– С удовольствием, а что нужно сделать?

– Видите, это моя подруга... нет, не так. Мы сегодня собрались крестить дочку моей подруги, я должна была быть крестной матерью, а я не могу.

Я чуть было не спросила «почему», но вовремя вспомнила – и не стала уточнять, чтобы не нарваться на неаппетитные подробности, какая из возможных причин ей помешала. Долго размышлять мне не пришлось: судьба явно вела меня к одному из людей, составлявших эту группу, – и, конечно, отказавшись сейчас поучаствовать в их таинстве, я сильно сужала для себя будущие возможности подойти к ним ближе. Да и оснований отказываться у меня не было. Я кивнула. Костлявая взяла меня за руку (что было довольно-таки неприятно) и повлекла за собой.

С первого взгляда все они мне не понравились: впрочем, я, конечно, была предубеждена и встревожена – вероятно, так чувствует себя крестьянская девушка на смотринах, не зная еще, кто из толпы явившихся пришлецов – бородатых, пахнущих водкой, в вонючих зипунах – получит право мучить ее в любой момент, когда захочется. Ближе всего ко мне стоял тощий, тонкогубый, с коротко стриженными черными слипшимися волосами (впрочем, в церкви было жарковато) малый лет тридцати, одетый так, как одеваются мастеровые по воскресеньям, даже не без некоторого форса: впрочем, видно было, что одежда эта есть скорее дань мимикрии – лицо у него было умное, хотя и злое. Рядом с ним, чуть отстранясь, стоял, с любопытством на меня глядя, мужчина чуть постарше, белокурый, с холеной бородой, одетый, напротив, щеголь-

ски; в руках он держал фетровую шляпу и трость, как будто явился не в Божью церковь, а на променады. Когда я подошла поближе, он сунулся было приподнять шляпу, позабыв, что держал ее в руках, стушевался, выправился и церемонно произнес:

– Простите великодушно, что вынуждены вас побеспокоить, и примите нашу глубокую благодарность за ваше согласие.

– Да хватит уже, – перебила его женщина, державшая младенца. Была она высокой, выше своих спутников, дородной, плотно сбитой, с длинной тонкой шеей; лицо ее, в обычное время, вероятно, привлекательное, было искажено гримасой недовольства. Кажется, ей не нравилось, что никто из мужчин не предложил забрать у нее дитя, или раздражала вся ситуация – может быть, впрочем, дело было в неожиданной заминке, вызванной ее приятельницей.

– Так теперь все в порядке? – Она обвела взглядом церковь, причем так энергично мотнула головой, что рыжие волосы ее, собранные в пучок, задела стоявшего рядом бородатого; он чуть подался в сторону, заметил, что я это увидела, и смутился. Между тем было отчего смутиться и мне: колокола гудели в моей голове, стрелка внутреннего компаса крутилась, как стрелка настоящего на Северном полюсе, отчего я чувствовала себя в каком-то бесконечном замешательстве.

– Да, начинаем, – проговорил священник, куда-то отлучавшийся и вновь подошедший. – Позвольте узнать ваше Божье имечко, – обратился он ко мне.

– Се... Серафима. – Я отчего-то запнулась, что, наверное, со стороны выглядело странно.

– Очень хорошо. Вы, раба Божья Серафима, будете крестной матерью ныне крещаемой Анастасии, а вот Владимир (он показал на тонкогубого, отчего тот еще сильнее скривился) будет, стало быть, крестным батюшкой. Все готовы? С Богом! Володя, возьмите девочку!

Тонкогубый, не переменив гримасы, неумело, но крепко ухватил ребенка (который, между прочим, все время этих переговоров не переставал спать); мне показалось, что державшая его женщина, по всем признакам, мать девочки, избавилась от нее с каким-то поспешным облегчением и теперь растирала себе руки, всем видом давая понять, какой это был неподъемный и неудобный груз. Священник между тем, соскользнув в привычную колею ритуала, забавил слова молитвы. В нужную минуту мы с тонкогубым рабом Божиим Владимиром отреклись от дьявола, засвидетельствовали свою принадлежность к нашей Церкви, после чего наступил торжественный момент: батюшка выдернул девочку из рук Владимира, прижав к себе, содрал с нее пеленку и трижды торжественно окунул в купель, отчего она немедленно заорала – к большому, кажется, его удовольствию. Из-за этого захлебывающегося крика я не сообразила, что от меня требовалось, – между тем он, держа на вытянутых руках надрывающегося младенца, явно обращался ко мне. Наконец откуда-то выбежал дьячок, протянул мне пеленку и объяснил. Кое-как я справилась, ухитрившись не уронить неожиданно тяжелую и мокрую девочку, пока священник смазывал ей миром ручки и ножки, – но все дальнейшее погрузилось для меня в особого рода туман. В ту секунду, когда мокрое и горячее тельце оказалось у меня в руках, колокола в голове утихли, а стрелка перестала вертеться: голубь вернулся в свою голубятню. Моим питомцем, моим объектом, моим подзащитным была она – и как быть дальше, я решительно не понимала.

Кажется, священник мягко попытался ее у меня забрать: я инстинктивно потянула ее к себе и очнулась, только когда стоявшие вокруг стали обмениваться понимающими улыбками. Впрочем, пока мне можно было ее оставить: после пережитого она утихла и сейчас спокойно посапывала у меня на руках. Мы обошли церковь по кругу (это составляло часть таинства) и остановились рядом со входом. «Милости просим вечером к нам», – проговорил бородатый, обращаясь к священнику. Тот кивнул. «И вас, конечно, мы всегда рады видеть, благо мы теперь сродни», – сказал он мне, аккуратно забирая у меня девочку. «Да, приходите пожалуйста», – рассеянно проговорила мать, ища глазами, видимо, свою подругу, которая с началом крещения

куда-то ускользнула. После чего той же компанией они вышли из церкви, не сказав мне, между прочим, ни своих имен, ни своего адреса. Я тоже вышла наружу и присела на лавочку: мне было о чем подумать.

Получается, что жизнь моя на ближайшее время определилась. Я странно себя чувствовала: даже не знаю, с чем эти ощущения можно был бы сравнить – может быть, опять с несчастной крестьянской девушкой, против своей воли выдаваемой замуж. Мне, конечно, не угрожали самые скверные обстоятельства ее кручинной жизни, но само чувство, особенно после двухнедельной вольницы, что я больше себе не принадлежу, было огорчительно. С другой стороны, постоянная пустота, которую я по самому складу своей природы ощущала все эти дни, вдруг заполнилась, и на ее месте клубилась какая-то мягкая теплая субстанция: как если после долгого голодного дня на морозе взять и выпить чашку кофе со сливками. Теперь, конечно, возникал ряд практических вопросов: прежде всего надо было понять, кто такие родители девочки, где они живут, чем занимаются и как можно было бы, не вызывая у них особенных подозрений, устроиться где-нибудь поблизости. Судя по тому, что они явно были знакомы со священником, жили они в самом городе – и прекрасно, потому что чем больше город, тем проще там остаться незаметным, гласит наша выстрадавшая мудрость. Разыскать их тоже представлялось делом нетрудным: можно было вновь довериться моему внутреннему компасу (хотя мерять шагами одну слободу за другой мне не особенно хотелось), немногим сложнее было проследить за батюшкой, который вечером собирался к ним в гости, но проще всего казалось просто пойти и спросить у него самого – думаю, в сложившейся ситуации это выглядело бы вполне естественно.

Как мне ни жаль было с яркого солнечного дня возвращаться в полутемную церковь, но пришлось: священника стоило перехватить до того, как он соберется домой. Впрочем, это опасение оказалось излишним – он стоял прямо за дверью, как будто специально меня поджидая.

– А, раба Божья Серафима! – воскликнул он, как будто мы были с ним век знакомы. – Как, кстати, вас по батюшке – а то ведь встретимся вечером в светской обстановке, надо будет как-нибудь к вам обращаться.

– Ильинична.

– А я отец Максим. От латинского «максимус», то есть огромный. Приходится соответствовать (он действительно был толст, но не болезненно, а скорее приятно крепок, как гриб-боровик). В миру Максим Андреевич Монахов. Но не монах, отнюдь нет, у меня семья.

Он осклабился, как будто я должна была в ответ на эту шутку залиться хохотом прямо в храме. Впрочем, мне он начинал нравиться.

– Скажите, а вот эти люди, которые...

Он перебил меня:

– Которых вы выручили и с которыми теперь породнились? Ну, это было смело, им с вами повезло. Я уже собирался сказать, что если кого-нибудь прямо сейчас им Бог не пошлет, то они могут отправляться домой. Это все-таки таинство, а не собаку купить. (Он опять выжидающе посмотрел на меня.) И так все удачно получилось. Это Лев Львович Рундальцов, гимназический учитель. И жена его Елизавета Александровна Мамарина. Вы спросите, почему у них разные фамилии? (Я ни о чем таком не собиралась спрашивать.) А этого даже я не знаю, но, может быть, вам они расскажут. (Я снова не оправдала его ожиданий на взрыв непринужденного веселья.) Вы, думаю, познакомитесь еще с ними поближе.

– А удобно ли? Все-таки это случайно получилось.

– Еще как удобно! И, кстати, кухарка у них – совершенный виртуоз, Рубинштейн сковородок и Направник сотейников. Да они вас и звали.

– А адреса-то и не сказали.

– Дмитриевская набережная, собственный дом, там во дворе, спросите. Приходите, приходите непременно, часам к девяти.

– Я подумаю.

– Не думайте, не думайте никогда, Серафима Ильинична, – думать вредно, мешает пищеварению.

И, не дождавшись ответа, расхохотался мне в спину. Смех у него был неожиданно тоненький, с подвыванием.

5

Пока все складывалось неплохо. Этот район я знала: здесь река делала изгиб перед тем, как вольно течь через сам город. На обеих ее сторонах довольно близко к воде стояли мещанские дома: на левой (той, где мы сейчас находились) были они пониже и постарее, а на противоположной, напротив, побогаче. Тамошняя не такая уж и длинная набережная была разделена на несколько совсем небольших кусочков, из которых каждый носил свое имя. Во время бесцельных прогулок по городу я заходила и туда – и любопытно, что внутренняя моя стрелка ни разу не указала ни на один из них. Впрочем, тогда девочка еще могла не родиться. Теперь мне предстояло выдумать себе подходящую легенду: конечно, не для того, чтобы объяснить свое присутствие в городе – если они школьные учителя, то, скорее всего, в большей или меньшей степени сочувствуют освободительному движению, а значит, легких намеков на секретную миссию будет достаточно. Но какая бы секретная эта миссия ни была, она все равно рано или поздно должна закончиться, что мне не подходило никак: я теперь была к ним привязана крепчайшей из связей, которая только существует на земле. Чем дальше я размышляла, тем больше мне нравилось, как судьба (или, будем прямо говорить, мое непосредственное начальство) соединила нас с младенцем узами, которые вполне различимы для близорукого человеческого взгляда. Что может быть естественнее, чем интерес крестной матушки к своей крестной дочке? Ей даже позволено быть немного навязчивой – и даже тогда жертвы ее прилипчивости в худшем случае отделаются закатыванием глаз, не рискуя впрямую отказать от дома.

При этом важно понимать, что никаких чувств (в человеческом смысле) ни к самому этому младенцу, ни тем более к его мирским родителям я не испытывала. Если бы мне зачем-нибудь удобнее было зарезать и Льва Львовича и Елизавету Александровну в их постелях, чтобы удочерить юную Анастасию, я бы сделала это не задумываясь: нам запрещено лишь употреблять мясо в пищу, а вот убийство впрямую не порицается (хотя, конечно, и не благословляется) – как бы иначе мы могли полноценно защищать наших подопечных? Соответственно, для меня важно, чтобы сама она спокойно и безопасно прожила свой век, а будет ли она при этом счастлива – дело десятое. Признаюсь, где-то на краешке моего профессионального сознания мелькала мысль, что если бы можно было запереть ее, например, в подвал и кормить через окошко (или вообще обездвигить каким-нибудь другим способом), то я бы, пожалуй, подумала про это минутку-другую, но потом все-таки устыдилась и стала размышлять, что можно сделать, оставаясь в пределах скромного человеческого гуманизма.

Выходило, что прежде всего мне стоило бы найти жилье где-нибудь поближе к ним: ходить туда из «Золотого якоря» было, конечно, не так уж далеко, но, похоже, в Вологде мне предстояло прожить не год и не два, так что стоило обзавестись хозяйством. Вообще я люблю отельный быт с его кочевой беззаботностью, но жить в гостинице больше месяца-двух все-таки утомительно. Чуть спокойнее жилось в меблированных комнатах, но в Вологде их тогда было немного, и часть гостиничных проблем поневоле перекочевывала и туда: шум, чад, непредсказуемые соседи. Кроме того, из-за особенно чуткого обоняния (один из немногих малозаметных признаков, отличающих нас от земнородных) я с трудом переношу кухонные запахи, которые и в гостинице, и в меблирашках не только витают в воздухе, но и зачастую впитываются в сами стены – люди их просто не замечают. Поселившись отдельно, можно было не допускать дома готовки вовсе, а посылать прислугу (куда же без нее!) в кухмистерскую.

Что касается легенды, то покамест я решила остановиться на той, которую обычно использовала, когда на меня кто-нибудь сильно наседал: назовусь детской писательницей. «А что вы написали?» – «Несколько рассказов в „Задушевном слове“». Если попадался совсем уж дотошный собеседник, который пытался выпытать у меня названия, я говорила что-то первое пришедшее на ум, например «Мальчик и воробушек» или «Пропавшие валенки» (наде-

юсь, «Задушевное слово» не подвело и что-нибудь в этом роде когда-то непременно печатало). После этого задававший вопрос непременно качал головой и сообщал мне (бесценная информация!), что он такого никогда не читает из-за того, что ему жалко времени. Меня всегда поражало – чем уж таким важным заняты эти лысеющие мужчины средних лет? Но, вероятно, это обречено остаться тайной.

В Вологде, как и по всей России, сдаваемые комнаты и квартиры обычно обозначали белой бумажкой, выставленной в окошке: вероятно, раньше на этих клочках писали «сдается» или «комната студентам», но по прошествии времени надписи отмерли за ненужностью – ну что еще на такой бумажке может быть написано! С Соборной горы я спустилась к воде. Река Вологда здесь была мутной и грязной; течение несло всякий сор, прибывало к берегу крупные клочья какой-то серой пены. Недалеко от меня на небольшом холмике примостился старичок, одетый, несмотря на тепло, в истрепанную фризую шинель, явно с чужого плеча. В руках у него была бамбуковая удочка, которую он поминутно вытаскивал и забрасывал вновь. Я едва только успела подумать, что вряд ли в этой скверно пахнувшей воде водится какая-нибудь рыба, как увидела, что удочка у него без поплавка и крючка, просто бамбуковая палка с навязанной на нее тесемкой. Заметив, что я это поняла, старик смущенно улыбнулся и, подхватив свой бессмысленный снаряд, потрусил прочь. Сперва мне стало его пронзительно жалко и одновременно неловко, что я, не успев вовремя отвернуться, разрушила его примитивную иллюзию, затем новая мысль уколола меня: а что, если он, как и я, приглядывает за кем-то и так маскируется? Пожалуй, по нестерпимости эта мысль могла посоперничать с первой. Впрочем, в качестве наблюдательного пункта это место было не слишком удачным: на нашем берегу не было ни души, а на противоположном, за полосой прибрежных кустов, виднелись крыши тех самых домов, в один из которых мне предстояло заявиться. Мне даже показалось, что я чувствую через реку какое-то легкое дуновение, слабый сигнал, призывающий меня, – но, может быть, это была фата-моргана, напрасно тревожащая мои и без того расстроены нервы.

Я поняла, что медлю из робости, сама на себя рассердилась и сама погнала себя прочь, чтобы не множить отговорки. На мосту была обычная скверная русская суэта: колесо крестьянской телеги попало в щель, телега накренилась, с нее посыпались какие-то подлые кринки, которые везли на рынок, хозяин слез их подбирать, остановив все движение, лошадь объезжавшего его ваньки запуталась постромками в упряжи двигавшейся навстречу архиерейской тройки (хорошо хоть без самого архиерея); немедленно вокруг образовалась компания зрителей, в которой мелькал уже и знакомый мне рыболовный старичок со своей бамбучиной. Протиснувшись вдоль этой гомонящей толпы вдоль самых перил, я спустилась с моста на набережную.

Сперва мне показалось, что вся она застроена казенными зданиями, в провинциальной наивности копирующими своих петербургских старших собратьев: каменные разлапистые дома с пузатыми фальшивыми колоннами, но только не очень большие – по два-три этажа. Потом, стеснительно из-за них вылезая, пошли мещанские кряжистые деревянные домики; в конце квартала белел островерхий храм, который я заметила уже с той стороны реки: вид его странно меня успокоил. Только теперь я поняла, в каком напряжении провела последние несколько часов, с того самого момента, как переступила порог церкви. Конечно, это трудный и тревожный момент: обычный смертный, решаясь, скажем, на новую службу или переезд, сохраняет смешную видимость собственного выбора, мы же никаких иллюзий относительно границ свободы даже не питаем. При этом страхи и переживания у нас принципиально разные: например, то, что человек находится на поверхности шара раскаленной магмы, окруженного тонкой хрупкой корочкой, и что шар этот летит в черном гибельном безвоздушном пространстве с немислимой скоростью, его в принципе совершенно не трогает. (Хотя, конечно, он был бы немало изумлен, если бы в поле за его окном вдруг взял бы да и вспух вулкан в три версты высотой с огненной шапкой.) Мы же, напротив, не можем об этом забыть ни на секунду, хотя

и живем с твердым убеждением, что нас успеют вовремя эвакуировать. Для меня эта тревожная суэта с переменной цели была мучительно тягостна, хотя мой личный вклад состоял лишь в разумной покорности: в конце концов, плыть против потока примерно так же перспективно, как пытаться перескочить из сегодняшнего дня во вчерашний.

Первый из мещанских домов темнел заколоченными окнами: это меня на секунду встревожило, но уже второй, двухэтажный, стоявший чуть во дворе, был недвусмысленно живым – сушилось на протянутой веревке белье, у конуры сидела, сосредоточенно вылизывая себе лапу, снежно-белая пушистая собака. Впрочем, в окнах бумажек не было. Я прошла чуть дальше: в Вологде, вопреки тревожным слухам о здешнем климате (с которым, увы, мне предстояло вскоре познакомиться ближе), высаживалось какое-то огромное количество фруктовых деревьев. Мне давно приходилось замечать за русскими склонность к бестолковым вызовам природе и судьбе: впрочем, есть в этом что-то не специфически русское, а вообще азиатское. Я где-то читала про восточного умельца, который вырезал суру из Корана на рисовом зернышке – вот совершенно типичная история, только еще следовало бы потом кинуть это зернышко в казан с пилавом. Тратить месяцы и годы своей единственной, короткой, несчастной жизни на утомительно-однообразный труд, который никто не может оценить, – видится мне в этом или природная ограниченность, или истовая религиозность, или какое-то сверхъестественное упрямство, а чаще все, перемешанное вместе. Казалось бы, если ты не можешь жить без сливового сада, то живи там, где растить его ничего не стоит, где-нибудь под Воронежем или в Сумской губернии. Но нет: этот Иоаким севера специально селится у полярного круга и начинает выращивать свое мастиковое дерево там, где оно расти в принципе не может. Он получает по почте семечки, проращивает их в горшках, поливает специальной фильтрованной водой, держит на окошке, а если побогаче, то строит специальную оранжерею с бог знает каким отоплением и освещением, потом комбинирует удобрения, добавляет в почву золу от ритуального костра, выписывает все существующие на белом свете садоводческие журналы – и все ради чего? Чтобы в какой-то момент торжествующе продемонстрировать хилый блеклый росток, который в двух тысячах верст к югу рос бы просто под забором, как крапива. Отдельная беда в том, что и демонстрировать-то обычно бывает некому: жена уходит, не выдержав этой злокачественной мономании, дети разбегаются, а соседи с библейской алчностью поглядывают на его экзотический сад, надеясь поскорее засадить его плотной бестрепетной картошкой.

Впрочем, несмотря на климатические обстоятельства, яблоневый сад перед следующим домом действительно был отменным и не полностью декоративным: по крайней мере часть деревьев была украшена крупными, наливными и на вид вполне съедобными плодами. Между ними шла дорожка, мощенная шестигранными торцами деревьев, как мостовая в Петербурге, который мне по странной ассоциации сразу и вспомнился – точнее, даже не сам город, а многолюдная перекладка этой мостовой после очередного наводнения, когда Нева, выплеснувшись из берегов, успела за пару дней часть торцов выкорчевать, а часть наполнить влагой до такой степени, что они, разбухнув, выворотились сами.

За садом виднелся темный двухэтажный деревянный дом типичной местной архитектуры; с одной стороны к нему был пристроен небольшой флигелек, с другой стояли сарай и навес с летней кухней; окошки по здешней моде (а скорее даже по необходимости) были небольшие, причем в одном из них виден был характерный белый прямоугольничек, что меня обрадовало. Тот же неведомый, но старательный садовод, который устроил в вологодском палисаднике убедительное подобие эдемского сада, постарался и здесь: дом был довольно тщательно увит девичьим виноградом (который, с присущим ему растительным пессимизмом начинал уже краснеть в предчувствии осени, хотя лето было еще в самом разгаре), а перед входом, наподобие ифритов в восточной сказке, стояли два куста, которые я не смогла опознать – краснолиственные, покрытые мелкими светлыми пахучими цветками; над одним из них жужжала одинокая пчела.

Я позвонила. Раздался звук колокольчика, и в ту же секунду дверь распахнулась, как будто, завидев меня из окна, хозяева поджидали прямо у входа. Сперва мне показалось, что прихожая пуста, а дверь открыта порывом ветра, но это было не так: просто открывшая мне женщина была очень маленького роста, почти карлица, значительно ниже меня. В отличие от большинства своих собратий, она не выглядела уродом: все пропорции ее тела были примерно как у взрослого человека, просто она была, если можно так выразиться, болезненно миниатюрной. Сзади или в полутьме ее, вероятно, можно было принять за подростка, но сейчас, когда яркий дневной свет падал из-за моей спины, истинный возраст выдавало ее хмурое, с чувственными чертами лицо, искаженное печалью и, кажется, даже заплаканное. Тонкое хныканье слышно было и из глубины дома. Что-то поднялось во мне тенью смутного чувства, испытанного сегодня перед церковью, – и вновь опустилось. «Вы за девочками?» – хмуро спросила меня карлица. «Нет», – растерялась я, сперва вдруг на какую-то долю секунды подумав, что она разгадала мою истинную сущность: впрочем, этими делами у нас занимаются другие. «А в чем тогда?..» – «У вас комната сдается?» – «Да, но...»

– Ну что там, Клавдия? – раздался из глубины дома голос, смутно показавшийся знакомым, и следом за ним откуда-то из темных недр показался не кто иной, как Лев Львович, отец моей подопечной. Меня, кажется, внутреннее чувство успело, хотя и подспудно, подготовить к этой встрече, он же был явно изумлен.

– Ангелина? Ой, простите, Серафима... забыл как по отчеству.

– Ильинична.

– Вы извините, Серафима Ильинична, но...

Мне первой удалось взять себя в руки.

– Я пришла не в гости и случайно, простите великодушно. Да и вижу, что не вовремя. Я искала себе комнату и вдруг увидела, что вы сдаете...

Он обменялся с прислугой взглядами, значения которых я не поняла.

– Да. Проходите, пожалуйста.

В доме, как оказалось, было электричество: карлица Клавдия вдавила кнопку, и прихожую залил желтоватый и слегка мерцающий свет. Я сделала шаг вперед: теперь я ощущала явственно, что младенец где-то здесь. Прислуга потянулась закрыть дверь, и мне вдруг на секунду сделалось жутко, как будто я в гондоле воздушного шара, горелка с ревом наполняет его горячим воздухом, и сейчас вот-вот отпустят швартовые канаты. Нервы мои были так напряжены, что я поневоле вскрикнула, когда в закрывающуюся уже дверь (как сейчас помню этот сходящий на нет клин голубого неба) шмыгнул крупный черный кот.

Это тоже была удача, причем сопоставимая по масштабу: любое домашнее животное почти наверняка было обречено стать если не моими глазами и ушами, то уж точно моим союзником. Конечно, дело не в том, что я понимаю их язык: они, собственно, не говорят ничего членораздельного, у них нет языка в грубом человеческом смысле, когда любое сообщение одного двуногого существа другому как минимум двухслойно – слова, которые сотрясают воздух, и то, что стоит за ними. Животные обходятся без первых, то есть сводят их к вполне механистическому «мяу» или «гав-гав», тогда как речь второго плана, собственно сообщение, у них не менее полнокровно, разнообразно и существенно, чем у людей: просто оно не членится на отдельные фрагменты. Да, понять это для тех, кто привык объясняться бесконечными комбинациями трех десятков звуков, трудно: допустим, это как разница между европейскими буквами и иероглифами, причем разнообразие будет здесь на стороне четвероногих. В конце долгого весеннего дня пахарь скажет, что он устал, утомился, выдохся. Пара волов, на которых он работал весь день, может выразить то же сотней различных способов, причем усталость после вспахивания суглинка или чернозема, под моросью или под ясным небом, под северным или южным ветром всегда будет разная.

Собственно говоря, именно это различие оттенков позволяет мне почти всегда выигрывать на ипподроме: просто перед забегом я полчаса прогуливаюсь у паддока и слушаю разговоры лошадей. Конечно, никогда не бывает, чтобы вороной жеребец прошептал кобыле в яблоках: «Я выиграю этот забег для тебя, дорогая»: он бы не смог это выговорить, а она бы не поняла (да и я тоже). Но сам тон, настроение, задор, та вибрирующая готовность к экстатической вспышке, которая одна позволяет возглавить гонку, слышны в их беседах очень хорошо. Для земнородного, даже имеющего дело с лошадьми, вроде конюха или жокея, то, что представляется мне оживленным гулом голосов, будет звучать какофонической смесью всхрапываний, вдохов и перестука копыт: ну и прекрасно, тем значительнее будет выдача в тройном одинаре.

В отличие от людей, которых языки в большей степени разделяют, чем сближают (я вспоминаю одну деревушку под Цюрихом, чей немецкий непонятен уже на другом берегу Лиммата), все звери понимают друг друга – ну а я, соответственно, их всех. Кот, конечно, почувствовал меня, но виду не подал, шмыгнув под стоящее в углу кресло. Прихожая была обставлена старой желтой мебелью, на стенах висели какие-то пестрые картины, словно в студенческой столовой: на одной, крупной, в полстены, кентавр, неожиданно похожий на заросшего волосами Скобелева, но только с копытами, куда-то тащил озадаченную полногрудую красотку в лиловом; другие, размером помельче, я не успела разглядеть.

Что-то в доме было не так. Карлица вновь обменялась взглядами с хозяином и скрылась в коридоре, уводящем вправо; через несколько секунд, впрочем, вернулась и закивала. Рундальцов сделал приглашающий жест, пробормотав «милости просим». Проход был узковат, так что ему пришлось практически вжаться в стену, чтобы случайно не прикоснуться ко мне, пока я протискивалась мимо; коридор освещался тремя тусклыми лампочками в жестяных абажурах. Мы прошли мимо нескольких закрытых дверей; у последней (коридор кончался глухой стеной) карлица Клавдия остановилась и жестом королевского батлера распахнула дверь. Скуление, доносившееся оттуда, прекратилось. Рундальцов, стоявший ближе, заглянул внутрь и отвел глаза. «Вот это ваша комната будет», – проговорил он, как будто стесняясь. Я осмотрелась: комната была большой, светлой, в три окна, но была она не пустой – на кожаном диване, стоявшем у правой стены, сидели, прижавшись друг к другу, две темноволосые девочки-подростки с заплаканными глазами и с ужасом смотрели на меня.

6

За прошедшие годы я приучилась к тому, что любая память, и человеческая и наша, устроена совершенно непостижимым образом. Бывает, что человек изо дня в день бьется, стараясь запомнить какое-нибудь греческое спряжение или хоть последовательность ассирийских царей, и никак не может: отвлекся на секундочку – и все Хархару и Мандару просыпались, как горох из дырявого мешка. А бывает, напротив, что какая-нибудь скверная сцена все возвращается и возвращается, хотя ты уже почитал ее навсегда похороненной где-нибудь на погостах забвения, как выражалась в патетическую минуту Елизавета Александровна, госпожа Рундальцова, впрочем совершенно не терпевшая, когда ее так называли. Я прекрасно помню – с диалогами и мизансценами – подробности своей жизни в этом доме; я могу, кажется, восстановить в памяти чуть ли не каждый из порою тягостных обедов, которые я выдержала в их весьма утомительной компании, но почему-то совершенно не помню подробностей переезда.

Сговорились мы очень просто: впрочем, им, конечно, было невдомек, что ради возможности быть поближе к их семейному очагу я готова и пострадать, по крайней мере финансово (представьте, что вы покупаете сторожевую собаку, а она ежемесячно еще приплачивает вам за конуру, цепь и миску). Я пообещала им платить по тридцать рублей в месяц в обмен на комнату и обеды. К этой нехитрой договоренности прилагалось довольно много обременений: так, гостей принимать мне было можно, но оставлять их ночевать нельзя (в этот момент, к чести их надо сказать, оба засмутились); в ту же плату входили и дрова, но растапливал печь самолично дворник, которого они даже собирались мне при заключении договора предъявить – интересно зачем? Оговорка про дворника была, конечно, трогательной: очевидно, предполагалось, что если специально меня не предупредить, то я буду ежедневно, подобрав платье, колуном пластать хозяйские поленья у себя на паркете, после чего топить собственную печь, покуда она не раскалится, может быть даже открыв из вредности форточку, чтобы больше ушло дров. Постельное белье мне должны были менять еженедельно. Обед готовила некая Жанна Робертовна, которая во время первой нашей встречи с Рундальцовыми так и не появилась, хотя, кажется, звенела стеклом и фарфором где-то за закрытыми дверями. Когда я предупредила, что скоромного не ем ни в каком виде, Елизавета Александровна пожалала плечами и сообщила, что тогда мне придется регулярно довольствоваться одним гарниром, что меня полностью устраивало. Среди прочего они, конечно, поинтересовались родом моих занятий, и безотказное «Задушевное слово» с «Пропавшими валенками» вновь пришли мне на помощь. Договорились, что я перееду к ним с утра во вторник (дело было в воскресенье). Ребенка мне так и не показали, и речи о нем не было, но присутствие его в доме ощущалось, по крайней мере мной. Из двух последующих дней врезалась мне в память одна-единственная деталь: извозчик, который вез меня из «Золотого якоря» сюда, на Дмитриевскую, был необыкновенно похож на Пьеро – в широких мешковатых брюках, каком-то светлом балахоне и белом картузе. Мне сперва показалось, что он еще и припудрен, что, признаться, для Вологды было совсем уж непредставимо, – но, только сев в его пролетку (куда гостиничный мальый, обливаясь потом, погрузил мои вещи), я поняла, в чем тут дело. Вероятно, с утра он вез кого-то с мельницы, так что весь оказался припорошен тонким слоем муки, а остальное уже доделало мое не в меру разыгравшееся воображение: мука стала пудрой, обычный кафтан – балахоном, а Ванька из Грязовца сделался, против всякого своего желания, французом.

Стендаль говорит где-то: «Жизнь поворачивалась к ним лицом, и оттого они не были злы». Даже сейчас, по прошествии почти пятнадцати лет, не могу подобрать других слов и про моих хозяев. Лев Львович Рундальцов (носивший некогда другую фамилию) был родом из Кишинева, из богатой семьи. Я не знала, но он мне объяснил, что любой еврей с тавтологическим именем и отчеством несет на себе, как родимое пятно, отпечаток драмы, осенившей

его рождение. Дело в том, что у евреев прямо воспрещено давать младенцу имя здравствующего родственника. Как и большинство их запретов, этот уходит причинами куда-то в седую древность: так, еще за три тысячелетия до того, как Левенгук (тоже, между прочим, не алеут) открыл бактерии, евреи уже соблюдали все гигиенические предписания, как будто зная об их существовании. Лев Львович предположил, что это – в смысле запрет на имя живого родственника – делается, чтобы ангел-хранитель не ошибся (и я, увы, так и не смогла ему потом объяснить, почему я расхохоталась). Единственное здесь, но важное исключение – если отец будущего ребенка умирает, пока его жена еще брюхата, она не только может, но и обязана назвать младенца именем его покойного отца.

Учился он в Харькове или Киеве, где-то, где процентная норма для поступающих в университет соблюдалась не так жестко, как в столицах, занимался прилежно, кончил курс одним из первых и вернулся к себе в Кишинев подающим большие надежды молодым юристом. По закону он был обязан отработать определенное время помощником присяжного поверенного или кем-то в этом роде, на низовых должностях. И получилось, что он так хорошо себя в этой роли показал, что-то такое необыкновенное сделал, что адвокатская палата (я могу путать название) вопреки традиции возвела его в должность в рекордно юном возрасте. В общем, к двадцати пяти годам, когда у его сверстников и коллег только начинали маячить где-то в бесконечном далеке первые профессиональные возможности, Лев Львович уже практически схватил бога за бороду, сделавшись чуть ли не самым модным адвокатом своего богатого города.

Он пытался описать мне это ощущение, которое не отпускало его несколько блаженных месяцев, но не смог – либо у него не хватало слов, либо у меня понимания. «Ну вот когда все у тебя получается, чего бы ты ни захотел». Мне показалось это немного скучным, только и всего: он же толковал об этом времени как о каком-то непрекращающемся опьянении. Он водил дружбу с местными богачами. Был принят в небольшой и державшийся весьма обособлено аристократический кружок. Дверь в особняк генерал-губернатора он открывал без стука, чуть ли не ногой – и пожилая, по тогдашним, конечно, его меркам, рыхлая генерал-губернаторша, по слухам, рыдавшая над романами Клавдии Лукашевич, склонялась постепенно к мысли, что лучшей партии для ее перерезавшей единственной дочери, может быть, и не сыскать: конечно, после его крещения. Креститься он, впрочем, пока не хотел, оставляя это на крайний случай: семья его не была религиозной (хотя на еврейскую Пасху в доме не оставалось ни крошечки квасного), но что-то его не то чтобы останавливало, но побуждало отложить на потом, может быть, перед последним, решительным взлетом карьеры – а уж каким тот будет, страшно было и вообразить.

Собралась тогда вокруг него и соответствующая компания – золотая молодежь местного разлива: дети местных винооторговцев, латифундистов, сын владельца городских боен, вернувшийся после четырех лет в университете Гейдельберга; юный хозяин городского элеватора, неожиданно получивший наследство после того, как его бездетный дядюшка, жуир и бонвиван, погиб в первой кишиневской автокатастрофе, врезавшись на только что доставленном по железной дороге «хорьхе» в кирпичную стену собственного склада; очень похожие друг на друга близнецы, сын и дочь полицеймейстера, и некоторые другие юные господа и дамы, чьи потускневшие черты оказались полустерты в памяти Рундальцова воспоминаниями о захватившем их вихре наслаждений. С удовольствием вспоминая эти безмятежные времена, Рундальцов каждый раз выуживал в памяти новые подробности состоявшихся кутежей, причем по большей части совершенно невинные: может быть, впрочем, он инстинктивно щадил мою чопорность. Но все эти воспоминания, как несчастный пловец в водовороте, неизбежно съезжали к увенчавшей их катастрофе.

Среди его свиты был упомянутый выше сын владельца боен, вернувшийся из Германии. Был он, по воспоминаниям Льва Львовича, болван и шалопай, хотя любил цитировать применительно к своей особе строки русского романа: «Он из Германии туманной, – говорил он при

первой встрече, уставившись на собеседника своими красными воспаленными глазами, – привез учености плоды». Подразумевалась дурная болезнь, которую местные авиценны с грехом пополам вылечили, но которая наградила его странным симптомом: сперва у него выпали ресницы и брови, а потом он сам вдруг загорелся непреодолимым отвращением к волосам, росшим у него на лице и теле. Из-за этого каждое второе утро он начинал с двухчасовой утомительной процедуры – специально выписанный из Малороссии искусный цирюльник брил его полностью, причем от скуки сам пациент любил в это время беседовать с друзьями и подругами (в последнем случае поставив особую ширмочку, чтобы щадить стыдливость, может быть, мнимую).

Отец, несколько фраппированный таким результатом довольно дорогостоящего европейского обучения, пытался приладить его к семейному делу, но не слишком преуспел: с другой стороны, даже если не брать во внимание приставший к нему гейдельбергский лоск, трудно было вдохновиться кровавыми подробностями их жестокой фамильной коммерции. Как это свойственно всем разочарованным родителям на свете, он склонен был винить в педагогической неудаче нынешнюю компанию своего сына – до появления в ней Льва Львовича. Последний же его совершенно очаровал: оказывается, этот кряжистый коммерсант, не моргнув глазом отправлявший под нож тысячи быков и свиней (о чем мне даже думать тяжело без внутреннего содрогания), был в действительности наивен и сентиментален. Раз-другой поговорив с Рундальцовым, когда тот заезжал за его свежесбранным чадом по пути к очередной эскападе, он был в высшей степени впечатлен манерами, складом характера и остротой ума юного адвоката. В свою очередь, Рундальцов постарался развить и укрепить знакомство, обещавшее ему в будущем вполне ощутимые блага: как и любое обширное дело, торговля старика регулярно нуждалась в юридических консультациях и услугах.

Собственно, ближайшая оказия для того, чтобы взаимная симпатия (совершенно, конечно, невиннейшая) переросла в деловые отношения, возникла довольно скоро. С тыльной стороны к зданию боен подступал небольшой лесок, издавна принадлежавший небогатой кишиневской семье. Муж и жена Лысогорские, бездетные и не имевшие близких родственников, еще с последней четверти прошлого века подпали под сильнейшее влияние идей графа Толстого: состояли с ним в переписке, участвовали в «Посреднике» и «Маяке», ежегодно совершали паломничество в Ясную Поляну, набираясь впрок мудрости и смирения на весь календарный круг. Существенным было и ежегодное пожертвование, которое отправлялось от их имени кому-то из толстовских распорядителей – например, Черткову – на устройство добрых дел.

С этими Лысогорскими владелец боен имел нескончаемую тяжбу. Для расширения своего безжалостного предприятия ему было совершенно необходимо увеличить земельный надел: с одной стороны владения его были ограничены рекой, с другой – кладбищем (которое он было заикнулся некогда перенести, но на него цыкнули даже весьма благоволившие ему отцы города), с третьей – шоссе, так что ему поневоле требовалось идти на поклон к соседям. Они же, благодаря своим взглядам, не только не готовы были уступить ему хотя бы часть ненужного им в принципе леса, но и, напротив, не пожалели бы сил и средств, чтобы его дело вовсе закрыть. В результате старик нанял каких-то особенно пронырливых ищеек, которые, всласть накопавшись в архивах губернского правления, выяснили, что много лет назад, еще до рождения всех участников истории, оба земельных надела, и его и Лысогорских, составляли одно исполинское имение, некогда поделенное на несколько частей. При помощи масштабных казуистических ухищрений (не обошлось, конечно, и без солидной порции обычной смазки, придававшей подвижность отдельным заржавленным частям бюрократического механизма) удалось извлечь тот самый пыльный первичный договор на свет божий, с тем чтобы попытаться его оспорить. Владелец боен и наголо выбритого наследника в последний раз предложил Лысогорским мировую; те отказались.

Дело должно было рассматриваться в суде. Предстоящий процесс широко освещался в прессе, особенно падкой на скандалы подобного рода: капиталист-мироед против небогатых благотворителей, хорошо известных всей округе. Мироед, благодаря знанию тайных пружин судопроизводства и приобретенному умению заставлять эти пружины музыкально вибрировать, в принципе не сомневался в победе: его непрерывно чихающим от архивной пыли крючкотворам удалось весьма убедительно доказать, что при межевании вековой давности границу между участками провели ошибочно и сейчас ее следует перенести как минимум на полсотни саженой вглубь участка толстовцев. Для того чтобы помочь этому камню сдвинуться с горы, требовалось минимальное усилие – и вот произвести его старик пригласил юного на тот момент Льва Львовича. С одной стороны, расчет его был довольно практичным: допуская молодого адвоката к заведомо выигрышному процессу, он заручался на будущее его благосклонностью. В случае, если тот оправдывал возлагаемые на него надежды, он должен был на всю жизнь сохранить теплое чувство благодарности к доверителю – и неизвестно, в какие еще услуги можно будет впредь эту благодарность конвертировать. С другой стороны (как полагал уже через пропасть лет сам рассказывавший об этом Лев Львович), в этом имелся некоторый подспудный иезуитский мотив: прельстить его достаточно двусмысленной славой, чтобы с юности слегка замарать слишком уж сверкающий образ. Не последнюю роль играл и будущий гонорар, который по традиции должен был отсчитываться от кадастровой оценки имущества, стоявшего на кону.

Лев Львович после секундного колебания принял это приглашение, что сделало его на недолгое время одним из самых обсуждаемых адвокатов если не в России, то уж, по крайней мере, в Бессарабии. Как это обычно бывает, неравнодушные люди (а в России все делается неравнодушными, когда речь заходит о чужих грехах) поделились на две примерно равные группы: одна жестоко порицала Льва Львовича за нездоровый практицизм (они выражались грубее), другая, напротив, говорила, что закону должно быть безразлично, кто смиренно стоит перед ним, и что даже такой малоприятный субъект, как владелец боен, заслуживает справедливости, и то, что даже еврейчик это понимает (неожиданно давала петуха группа поддержки), только делает ему честь. По мере приближения суда общественный накал становился все заметнее, тем более что дело приходилось на период, когда других развлечений у обывателей обычно бывает маловато. Лев Львович ходил совершеннейшим гоголем, сделавшись не только единственной общепризнанной звездой в своей компании (так было, по сути, и раньше), но и одним из самых заметных лиц города. Дошло до того, что владельцы главных городских ресторанов на Александровской улице ежевечерне наперебой заманивали его и его свиту, отказываясь брать с них деньги, – поскольку замечено было, что их присутствие гарантирует полный зал и очередь у входа (впрочем, после того, как шалун-мукомол, хозяин элеватора, заказывал однажды весь вечер шампанское, почти исчерпав ресторанный погреб, счет за вино стали все-таки приносить).

За день до суда в Кишиневе высадился отряд столичных корреспондентов: таким образом, предстоящий процесс собирался прогреметь на всю страну, может быть, за временным отсутствием более важных новостей. Гости из Москвы и Петербурга прошлись по главной улице, съездили на извозчиках осмотреть спорную территорию, поцокав языками, сытно поужинали и разошлись по номерам Гранд-Отеля, чтобы к десяти утра быть уже в здании губернского суда. Во время ужина многие из них, кому хватило места в «Александрии», могли видеть и компанию золотой молодежи, где солировал Лев Львович, которого городская молва единогласно называла завтрашним триумфатором. Любопытно, как по мере приближения заседания акценты смещались – и уже не владелец боен с защищавшим его юным пронырой виделся захватчиком чужой земли, а, напротив, противостоявшие ему Лысогорские казались «выскачками» и «святошами», «не дававшими городу развиваться».

Наконец наступил долгожданный день, выдавшийся дождливым и промозглым. С утра улица у здания суда была полна экипажей: в межсезонье (а начинался, кажется, и Великий пост) возможностей для развлечения в городе было немного, так что предстоящий процесс поневоле приобретал черты оперной премьеры. Казалось, в самом его сюжете не было ничего, что способствовало бы занимательности, – это не было даже делом об убийстве (хотя, если вдуматься, в сущности, это именно оно и было, поскольку, победив, старик мог бы удвоить и утроить количество казнимых им животных). С другой стороны, сравнение с оперой здесь, может быть, оказывалось не таким уж и натянутым, поскольку обычно и в последней занимательного немного. Нотариус в костюме летучей мыши так напился на маскараде, что заснул на скамейке в городском парке: а ведь тысячи, десятки тысяч ходили и ходят слушать эту искрометную историю! Так что простим и невинные души кишиневских обывателей, с утра стекавшихся к суду.

Наконец в назначенный час судья в мантии и парике величественной походкой выходит из своей каморки и поднимается на кафедру. Полный зал. На отдельной скамеечке сидит погубитель коровьих душ в своем черном макинтоше и читает свежий номер «Бессарабца». На другой скамеечке, поодаль, сидят супруги Лысогорские: она с вязаньем, он с томиком избранных сентенций седобородого учителя и пророка. При них – оробевший стряпчий, неизвестно откуда взявшийся, может быть данный по суду или присланный кем-то из единоверцев. Не хватает только господина Рундальцова, адвоката истца. Судья недовольно хмурит брови, но, снисходя к молодому любимцу всего города, прощает ему желание театрально обставить свое появление в зале. Но вот уже пять минут, десять, пятнадцать: среди зрителей поднимается ропот. Лев Львович блистательно отсутствует. Тогда судья делает то, что предписывает ему традиция, закон и совесть: объявляет заседание открытым, выслушивает заикающегося, но вполне убедительного стряпчего Лысогорских, потом ритуально опрашивает старика, который, отложив «Бессарабца», может лишь что-то взрыкивать, поминутно таская из кармана золотой «Брегет» с четвертным репетиром в несколько языческой надежде, что при каком-то повторении этой манипуляции его адвокат может вдруг воплотиться. Вотще! Процесс завершается полным поражением владельца боен и абсолютной победой Лысогорских, которых городская молва, переменчивая, словно земная женщина, отныне и надолго делает героями и всеобщими любимцами.

Как объяснял мне Лев Львович десятилетие спустя, в то знаменательное утро, которое должно было стать, как выражались кишиневские журналисты, «зареею его торжества», он испытал такой приступ апатии, которого с тех пор не чувствовал даже близко. Злые языки утверждали, что накануне он с друзьями слишком увлекся, отмечая свой будущий триумф, но он с этим категорически не соглашался, даром что прошло уже столько лет и эта запоздалая дискуссия имела сугубо схоластический характер. Накануне он, по его словам, практически не пил, а долго заснуть не мог лишь от понятного волнения. Между тем, когда прислуга пришла его будить, он не мог шевельнуть и пальцем, сам себе напоминая слугу сотника из Капернаума. При этом он не был парализован: по желанию он мог двинуть рукой, ногой и даже сложить известную фигуру из пальцев (что настоятельно советовала ему прислуга, чтобы отогнать черта), но поднятая было рука расслабленно валилась обратно на постель. Он отказался от мысли отправить кого-нибудь из двора в суд предупредить о сразившем его припадке: матери как назло дома не было, а мысль о том, как старуха-няня будет объясняться с судебным приставом, заставила его даже сквозь апатию почувствовать какие-то особенные спазмы, так что он предпочел пустить дело на естественный ход и даже вновь заснул, а когда снова проснулся и смог, пошатываясь, встать и сделать несколько шагов, было уже поздно.

Кажется, он сам не понимал масштабов постигшего его несчастья, покуда несколько дней спустя не попытался впервые выехать из дома. Вероятно, если бы он просто проиграл этот процесс или, допустим, явившись в суд пьяным, постарался бы посреди юридической дискуссии

задушить адвоката противной стороны, общественное мнение нашло бы для него смягчающие обстоятельства. Но он, на свое несчастье, сделался посмешищем – и от него отвернулись не только владелец боен с сыном (этого и следовало, конечно, ожидать), но и все, включая собственную мать, которая на третий или четвертый день, не выдержав, все-таки сообщила ему, что ей стыдно теперь даже показаться в благотворительном обществе, где она играла до этого какую-то немаленькую роль. В результате Рундальцов вновь провалился в депрессию, на этот раз не такую тотальную (он мог встать и сам себя обслуживать), но гораздо более продолжительную – и, по его словам, два или три месяца пролежал на кожаном диване, уткнувшись лицом в щель между спинкой и ложем. Поскольку часть этого времени он поневоле проводил с открытыми глазами, он успел изучить эту щель очень хорошо, как, может быть, какой-нибудь ботаник изучает розу: со всеми стежками швов, кусочками торчащего из них конского волоса, случайно забравшимися крошками и узором самой кожи. Долгие часы посвящал он размышлению о животных, которые пожертвовали ради него собственной шкурой: впрочем, от этого предмета мысли, как муравей в ловушку муравьиного льва (он, кажется, рассказывая, сам гордился этим каламбуром), съезжали к бойням, от боен – к проигранному процессу и дальше опять увязали в том мучительном болоте, в которое превратился его угнетенный ум.

Наконец, ближе к середине лета, он стал понемногу поправляться и даже попробовал несколько раз выходить из дома поздним вечером, укутавшись в плащ и подняв воротник, чтобы оставаться неузнанным. Случившаяся с ним странная расслабленность полностью переменила его характер: позже, вспоминая ее, он сравнивал свое состояние с ощущением человека, который, спасаясь от какого-то кошмара, забежал в незнакомый дремучий лес и там остановился. Столько лет он провел в непрерывной погоне за ускользающим от него миражом... непонятно даже чего: славы? денег? успеха? – вероятно, всего этого вместе, но взятого как-то в отвлеченных идеях. К деньгам, по скромности привычек, он был в основном равнодушен, да и честолюбивые замыслы влекли его как некоторая абстракция: «Если принято к этому стремиться и если у меня это так легко получается, то почему бы и нет?» Выяснилось же, что это не просто составляло главное дело его жизни, а что, собственно, вся жизнь в этом и заключалась, и, утратив адвокатскую бойкость, он потерял вместе с ней и весь свой сокрытый двигатель.

Так прожил он, скрываясь не только от знакомых, но и вообще от всех, кроме своих домашних, до начала осени, когда у него стал вызревать некий план. Вероятно, как он сам потом догадывался, долгие разглядывания того ничтожного пространства, которое постоянно на протяжении двух месяцев было у него перед глазами, навели его на ощущение, даже скорее на идею о сложном и интересном устройстве мира, которое обычный человек полностью упускает из вида. Как Гулливер среди лилипутов, он стал подолгу всматриваться в окружающие его миниатюрные вселенные: мог чуть не часами следить за мухой, бьющейся в окно; разглядывать в увеличительное стекло букет цветов, поставленный матерью на рояли в гостиной, или, прихватив с обеда ломтик мясного пудинга, положить его в палисаднике близ муравьиной тропы и наблюдать, как сперва один привлеченный запахом шестиногий разведчик, свернув с торной дороги, оглядывает и ощупывает нежданный дар небес, затем, кликнутые им, к нему присоединяются товарищи, и, наконец, к волшебному гостинцу направляются построенные в строгие порядки его соплеменники-тяжеловозы.

Когда пришла зима (впрочем, по-южному мягкая) и большая часть занимавших его существ попрятались по укрытиям, он выписал через магазин учебных пособий простенький микроскоп и стал повторять опыты, памятные ему еще по гимназии: выводил инфузорий из сенного настоя, растил плесень на дынной корке (к явному неудовольствию матери) и препарировал принесенного с базара карпа, лишив, таким образом, семью пятничного обеда: кухарка категорически отказалась запекать в пироге экземпляр, располованный его любознательным скальпелем. К весне он твердо решил сделаться натуралистом. Остаться в Кишиневе было немислимо – и столь же немислимо было возвращаться в тот университет, где он кон-

чал юридический: вообще ему хотелось подвести черту под прошлой его жизнью и начать все наново. И в Петербурге, и в Москве его ожидали неминуемые трудности из-за процентной квоты на студентов-евреев: то, что в прошлый раз ему повезло, почиталось почти за чудо. Тогда он решил креститься, чтобы препятствие это преодолеть: в те времена это не только не порицалось, а даже скорее поощрялось, проходя отчасти по ведомству успешного миссионерства, чем многие и пользовались – вопрос об искренности смены конфессии вообще обычно не поднимался. Неожиданно это вызвало глухой ропот недовольства со стороны семьи: одно дело было манкировать обрядами, а другое – вообще отбросить религию предков. Рундальцову пришлось выдержать несколько неприятных бесед, в том числе и с такими родственниками, которых он не видел сроду: откуда-то из Макарова и Бендер приезжали осанистые незнакомые евреи в широкополых черных шляпах, которые с первых слов предлагали звать их дядя Иось и дядя Пинхус, а со вторых обращали на него всю мощь отточенной в многовековых дебатах риторики. Здесь, впрочем, его крепнувший после болезни дух неожиданно отвердел: не придавая до сих пор особенного значения ни отеческой религии, ни ее возможной смене, он оказался в высшей степени возмущен тем, что представлялось ему неуместным вмешательством в его личные дела. Тогда мать пригрозила ему лишением родительского благословения. Он расхохотался ей в лицо. Немедленно последовавшая угроза отлучить его от наследных капиталов подействовала сильнее: несмотря на переменявшиеся обстоятельства, к определенному уровню комфорта он привык, и перспектива полного пересыхания денежного ручья встревожила его куда больше, чем талмудические проклятия родственников (между прочим – зря он отнесся к последним легкомысленно, но это уж так, к слову). Тем временем подоспело и решение, неожиданно устроившее всех: один из дальних родственников, плутоватый ходатай по сомнительным делам, мелкий комиссионер и вообще темная личность из какого-то местечка Виленской губернии, состряпал ему фальшивую справку о крещении, взяв за нее весьма скромные деньги с семьи Льва Львовича, но получив какие-то чрезвычайно важные для него обещания с дядей Пинхусов, что его целиком и полностью устроило. Не сказать, чтобы это прямо обрадовало ортодоксальную часть семьи, но все равно по сравнению с действительным крещением представлялось им меньшим из зол.

Той же осенью он без всякого труда поступил на физико-математический факультет Петербургского университета (по архаичности его устройства в нем было всего четыре факультета, и все естественные науки изучались здесь). Среди своих однокурсников он, конечно, немало выделялся – и возрастом, и несопоставимым жизненным опытом (который, впрочем, тщательно скрывал), и особенным угрюмством, отпечаток которого навсегда остался на его личности после той злополучной истории. Снимал он комнату где-то на Петроградской, причем довольствовался весьма скромными условиями жизни, мало чем отличаясь от других студентов, – хотя, конечно, при желании мог бы позволить себе значительно больше. С товарищами он не сходилась, ограничиваясь по преимуществу холодной вежливостью; после нескольких попыток втянуть его в общие дела или развлечения, когда он очень аккуратно, но совершенно категорически отказывался от любого сближения, от него отстали, мысленно сочтя сухарем и бирюком. Учился прилежно, хотя и без истовости; знаниями не блистал, на первые роли не напрашивался, но преподаватели (из которых иные были моложе его) отмечали его за явную увлеченность предметом и глубокие ровные познания.

Так он проучился два курса, причем не ездил домой даже на каникулы, оставаясь на лето в опустевшем Петербурге и деля свое время между Публичной библиотекой, где штудировал толстые тома немецкой естественной истории, и долгими прогулками по ближайшим окрестностям. Его плотная фигура с сачком для мелких водных обитателей и набором стеклянных колб, упакованных в особый, на заказ сшитый кожаный ягдташ, не раз пугала нервных дачниц из Озерков и Парголова, чей романтический променад бывал вдруг прерван сопением, топотом и появлением перемазанного в грязи незнакомца из плотных зарослей орешника, за

которым скрывалось особенно примечательное с точки зрения гидробиологии болотце. Лишь однажды, во второе свое петербургское лето, несколько одурев от жары и смрада, он предпринял трехнедельное путешествие на север Финляндии: по железной дороге до Куопио и дальше на лошадях, ночуя в чистеньких крестьянских избах, так непохожих на русские, и не перемолвившись за все время с возницей-финном, подряженным на все путешествие, и десятком слов. В какой-то момент, где-то в районе Торнио, где заканчивались последние следы цивилизации и начиналась тысячекилометровая дикая и таинственная Лапландия, после утомительной переправы через бурную реку (во время которой даже молчаливый спутник утратил свою обычную невозмутимость и либо бранился, либо молился по-фински) Рундальцов испытал еще один приступ, отчасти напомнивший ему тот, кишиневский, только как бы с обратным знаком. Он почувствовал вдруг что-то вроде глубинного резонанса с миром, мягкого растворения собственной личности в миллионе происходящих вокруг процессов и явлений. С приобретенной уже натурфилософской сметкой он предположил, что так должна чувствовать себя освобожденная от тела душа, осознающая, что ее бывшая оболочка растворяется в природе, становясь строительным материалом для деревьев и цветов, но в действительности это было нечто большее, какой-то пантеистический экстаз. (Я бы, конечно, могла ему объяснить, в чем тут дело, но предпочла помалкивать.)

Произошедшее произвело на него такое впечатление, что он подумал было остаться там на несколько лет или навсегда и уже построил небольшой практический план (порой Лев Львович становился неожиданно предприимчив). Он думал доехать до ближайшего крупного городка, которым и был пограничный Торнио, выписать по телеграфу из Кишинева небольшую сумму денег, подыскать подходящий домик где-нибудь в окрестностях – достаточно далеко, чтобы до него не добирались случайные гости, но в то же время и достаточно близко, чтобы можно было при необходимости воспользоваться плодами просвещения, – построить там небольшую лабораторию и скоротать пару-тройку лет за написанием масштабного, употребительно подробного исследования «Беспозвоночные приполярных озер» (с цветными таблицами в приложении). Остановил его, как ни странно, возница, с которым он поделился своими планами (опустив, конечно, предшествующее ему руссоистское озарение).

Первым потрясением для Рундальцова оказалось, что тот прекрасно говорил по-русски: до этого он ограничивался какими-то полужверинными взрыкиваниями, обращенными к косматым лошадам, и несколькими произносимыми со старательной артикуляцией неизбежными «ночуем тут» или «пора вставать». По вечной косности горожанина Лев Львович предположил, что этим и исчерпывается его словарный запас: вообразить, что человек, имея возможность вести беседу, предпочитает молчание, было ему в высшей степени затруднительно. Между тем, когда Рундальцов, выбирая русские слова попонятнее, попросил свезти его к кому-нибудь из местного начальства, чтобы поговорить о своем будущем переезде, возница вдруг оказался носителем совершенно правильной и даже академически отточенной русской речи (бросившись в другую крайность, Лев Львович сразу же предположил, что его собеседник окончил университет в Гельсингфорсе). Этим правильным языком он объяснил изумленному Рундальцову, что тот попал в эти края в наиболее удачную минуту, которая, может быть, и выпадает-то несколько раз в году, а остальное время тут либо лежит снег (почти восемь месяцев), либо идут дожди, и что он, Лев Львович, быстро тут взвонит от тоски. В качестве эксперимента он предложил ему поселиться в Торнио, сняв квартиру у обывателей, только предупредил, что выбирать место нужно подальше от гарнизонных зданий, поскольку барабанный бой в дни усиленных занятий бывает совершенно невыносимым. Вероятно, был он, как теперь кажется, тонким психологом, поскольку сумел выбрать одну из самых уязвимых точек в сознании собеседника – ибо мысль о тягучем, изо дня в день повторяющемся быте гарнизонного городка, с его сплетнями, шагистикой, маркитантами и изнывающими от скуки офицерскими женами –

причем все это под морозящим дождем, – немедленно привела его в глубокое уныние. Через три дня их маленькая экспедиция отправилась в обратный путь.

7

Начало его третьего курса в качестве студента-натуралиста ознаменовалось катастрофой. Благодаря существенной разнице в возрасте и уединенному образу жизни ему удалось правильно поставить себя среди однокурсников: его не бойкотировали, но и не докучали. На третий год среди студентов-первогодков оказался один кишиневец, причем стоявший весьма близко к его бывшей компании, – младший сводный брат одного из его постоянных клеветов. Юноша был бойкий, из породы скверных шалунов, особенно склонных к бессмысленным забавам, доходящим до жестокости: эти люди обычно бывают знатоками человеческой природы и умеют, попав в новую среду, быстро занять там особенную, как будто специально для них приготовленную роль. Не претендуя (по трусости или мелкотравчатости) на главенство, они занимают пост злого духа при главаре, подбивая его, а вместе с ним и всю компанию на подлые дела, от которых каждый по отдельности отшатнулся бы в ужасе и омерзении. Впрочем, даже учитывая эти особенности, сделался он среди студентов-естественников своим как-то чрезвычайно быстро.

Лев Львович, сперва его не признавший, после очередной встречи в легендарном университетском коридоре вспомнил полузабытые черты: тот, заметив, что узнан, осклабился: «Привет, соня» – и пробежал мимо. В ближайшие же недели Рундальцов постепенно стал замечать, что вокруг него как бы образуется дополнительное пустое место: в частности, при лабораторных занятиях, где студентам положено было действовать парами, ему все труднее было подобрать себе товарища. Также и на лекциях: даже когда читали самые популярные профессора и в большой аудитории слушатели стояли в проходах и сидели на полу перед первым рядом скамей, рядом с Рундальцовым с двух сторон обязательно оставалась пустота. Он, хоть и не слишком чувствительный к чужим мнениям о себе, не мог не заметить искоса бросаемых на него взглядов (причем зачастую и вовсе незнакомых людей) или пущенного вскользь шепотка, стихающего при его приближении.

Разгадка пришла с неожиданной стороны: от квартирной хозяйки, которая, давно сдавая комнаты студентам, обзавелась по необходимости самыми причудливыми знакомствами. Постучав однажды вечером в дверь его комнаты (к немалому изумлению постояльца), она попросила уделить ей полчаса для конфиденциального разговора. Конечно, он согласился, продолжая недоумевать и даже, кажется, заподозрив, что здесь замешан какой-то амурный интерес: хозяйка была еще не старой, явно одинокой, а Рундальцов, как и многие молодые мужчины определенного склада ума, склонен был считать себя неотразимым. С первых же ее слов стало понятно, что об амурах, по крайней мере сегодня, речь не пойдет и близко. Дама эта получила совершенно точные сведения, что приехавший из Кишинева юнец широко распространяет в студенческих кругах самые соблазнительные сведения о Рундальцове, недвусмысленно называя его провокатором и полицейским агентом, внедренным в ученическую среду ради наблюдений над нею, и, более того, побуждает руководство социал-демократической студенческой организации казнить Льва Львовича, причем сделать это максимально демонстративно, чтобы, как он выражался, «преподать другим иудам урок на будущее».

Занятно, что сведения эти поступили к хозяйке от хорошо ей знакомого жандармского подполковника, который, в свою очередь, получил их от одного из своих агентов, чуть ли не входящего в руководство этой самой революционной организации. Предупредил он ее, кажется, из чистого альтруизма, поскольку об ее апартаментах, после совершения там акта подпольного правосудия, могла пойти дурная слава. Лев Львович, справившись с понятным волнением, поинтересовался, отчего жандармы не могут прямо сейчас накрыть всю их шайку: хозяйка чуть не рассмеялась (а может быть, впрочем, и рассмеялась), после чего все-таки снизошла до объяснений, что при отсутствии каких бы то ни было улик (а прежде всего самого тела

ее собеседника с дымящейся револьверной раной) все эти разговоры не стоили бы для суда и выеденного яйца – и любой, самый неопытный адвокат (Л. Л. клялся, что она посмотрела при этих словах на него со значением – а следовательно, знала она еще больше, чем говорила) добился бы не только оправдания мерзавца-земляка, но, пожалуй, и сорвал бы аплодисмент у собравшихся зрителей. Поэтому, – продолжала хозяйка, – выход у него может быть только один: немедленно, в крайнем случае за день-два, оформить в канцелярии отпуск, собрать вещи и спешно выехать прочь, причем в качестве жеста доброй воли она обещала вернуть ему непрожитую часть квартирных денег.

Для характеристики Рундальцова важно, что, несмотря на спешку, он сумел найти время, чтобы отнести своих водяных питомцев, склянки с которыми составляли основу его угрюмого интерьера, обратно в Озерки и выпустить в родные болота. Остальные сборы были куда менее обстоятельны. В первый же день после бессонной ночи он послал дворника за справкой о благонадежности; получив ее – выправил в канцелярии генерал-губернатора заграничный паспорт и еще через два дня ехал в поскрипывающем уютном плюшевом вагоне «Международных линий» в сторону Варшавы. Одновременно из Петербурга в Кишинев примерно с той же скоростью отправилось его письмо к матери, где с принятой к этому моменту в их переписке сухостью сообщалось, что неотложные дела не позволяют ему оставаться более в Петербурге и что ближайшие месяцы он проведет в Лозанне, куда и предлагает адресовать впредь почту, а пока же просит, ввиду изменившихся обстоятельств и непредвиденных расходов, прислать ему денежный перевод в Вену, на центральный почтамт, *poste restante*.

Из трехчасовой пересадки в Варшаве ему запомнились только настойчивые вопросы дорожного служащего о том, на какой из семи местных вокзалов отправить сопровождающий его багаж: такое изобилие в обычную минуту позабавило бы его, но он был сосредоточен и отвечал, естественно невпопад, – в результате его дорожным сундукам потребовалось немало времени, чтобы к нему наконец вернуться. Из Варшавы новый поезд, на вид – родной брат предшествующего, – повлек его дальше, к границе, где его ожидал новый сюрприз. Либо проклятый кишиневец изначально действовал в сложной симфонии с полицейскими властями, либо сведения о его (абсолютно мифической) противозаконной деятельности, раз попав в какие-то бумаги, зажили собственной потаенной жизнью – в любом случае на русской стороне границы его поджидал чрезвычайно подробный, а отчасти даже и унижительный обыск и допрос. Покуда пассажиры его поезда, препровожденные в особый барак, ждали паспортного контроля, Рундальцова довольно демонстративно отозвали в сторону двое жандармов, как в водевиле, толстый и тонкий, – и предложили следовать за ними. Заведя его в отдельный кабинет, где сидел, продолжая опереточную тему, их совершенно лысый коллега (на секунду Рундальцову вспомнился полузабытый бывший товарищ-шалопай, жертва алопеции), они обратились к нему с предложением выдать им все запрещенное, что только у него есть с собой. Он совершенно честно отвечал, что ничего, кроме смены белья, документов, пары банковских аккредитивов и взятого в дорогу для развлечения определителя водных насекомых, у него с собою нет. Тут некстати оказалось отсутствие багажа, отставшего в Варшаве: подозрения их удвоились.

Лысый жандарм, который был явно старше своих коллег, в том числе и по званию, ввернул в глаз монокль (чем добавил сцене еще толику театральности) и, достав из валявшегося на столе голубого конверта сложенный вдвое лист почтовой бумаги, поинтересовался у Льва Львовича, точно ли он – господин такой-то, сын почетного гражданина, студент императорского университета. Тот подтвердил, всматриваясь тем временем в листок, который жандарм держал в руках: письмо это было написано, между прочим, явно женским почерком. Жандарм хорошо поставленным голосом сообщил, что, согласно полученным им сведениям, Лев Львович имеет при себе кое-что противозаконное и что сейчас истекает последний шанс для него это запрещенное отдать, поскольку в настоящий момент это еще может квалифицироваться как добровольная выдача, а уже пятью минутами позже приобретет статус обнаруженного при

обыске. Рундальцов, который, благодаря своему первому образованию, прекрасно осознавал эти тонкие различия, еще раз подтвердил, что ничего сколько-нибудь предосудительного у него с собою не имеется. Тогда два жандарма, до этого стоявшие у него по бокам, вдруг подхватили его под руки и очень быстро, не давая опомниться, тщательнейшим образом обыскали. Как бывает с людьми некоторого склада в тревожную минуту, он запомнил это очень хорошо, но как-то отстраненно, как будто его душа (это его сравнение, не мое), вдруг перепугавшись, решила ненадолго выпорхнуть из тела и, трепеща крыльшками, обзревала происходящее с безопасного расстояния. Почему-то ему приходила при этом на ум сцена из «Одиссеи», когда ослепленный Полифем ощупывает одного барана за другим: ровно таким бараном он себя и почувствовал, даром что у Полифемов в шинелях было шесть глаз на троих.

Не найдя ничего, жандармы нехотя его отпустили, после чего Рундальцов был вознагражден своими минутами славы: его появление в зале ожидания было встречено чуть ли не рукоплесканиями других пассажиров, у которых тем временем как раз успели проверить паспорта. Оставшиеся часы дороги к нему в купе то и дело заглядывали люди из других вагонов, подзревая в нем близость к таинственным волнующим мирам и желая при его посредстве прикоснуться к ним тоже: приглашали его в вагон-ресторан пропустить рюмочку, звали в гости, а одна дама, скрывшая свои черты под густой вуалью, ни слова не говоря, протянула ему рукой, затянутой в лайковую перчатку, карминно-красную визитную карточку с эллинским именем, вытисненным особой вязью. От карточки шел густой аромат асфоделей. В Вене на почте его ждала телеграмма, сообщавшая о скоропостижной смерти матери от приступа грудной жабы.

Странно, но в эту минуту он не почувствовал ничего, кроме, может быть, тени облегчения. Уже потом, припоминая эти венские дни, прожитые им в некотором тумане, он задним числом придумал себе если не оправдание (в котором не нуждался), то хотя бы объяснение. Он представлял себе прожитую жизнь в виде некоего здания. Однажды оно даже ему приснилось – большое, вычурное, похожее на готический собор, но при этом совершенно светское: так могла выглядеть средневековая ратуша в каком-нибудь немецком городе, где все тайны и красоты поручались архитектуре с тем, чтобы обыденной жизни оставались лишь окорока, пиво и булыжная мостовая, по которой так весело маршировать, чеканя ритм подбитыми медью каблуками. Здание это (во сне) было недостроено, как будто возводить его начали, например, с северного фасада, причем сразу целиком, во всю высоту: Лев Львович понимал, что так не делают, но сновидческую его сторону это не останавливало. Дом был с одного боку возведен под самую стрельчатую черепитчатую крышу, и даже приспособлены были какие-то горгульи со знакомыми физиономиями, но кончалось здание пустым проемом, в котором копошились рабочие. И вот мать его, которая была краеугольным камнем всего сооружения, умерла – и здание рухнуло, подняв тучу пыли.

Его практические заботы от этого, конечно, не были решены: напротив, когда он подумал было о возвращении в Кишинев, то понял, что в безопасности там отнюдь не окажется. Если бы он мог отыскать ту организацию или тех людей, которые приговорили его (ежели только юный мерзавец не выдумал все самостоятельно), он мог бы, вероятно, с ними объясниться, хотя не вполне ясно, каковы могли быть свидетельства его невинности. Более того, вопрос его вины мог вовсе для них не возникнуть: он называл мне русский роман, в котором героя в похожей ситуации убили ни за что, только ради того, чтобы связать участников казни кровавой поручкой. Поэтому облегчение это, если оно не почудилось его виноватому (и виноватящему себя) уму, восходило к иррациональному ощущению перевернутой страницы, которая, может быть, означала закончившийся кошмар, гнавший его безостановочно с той бессарабской ночи: как в дурном сне захлопнутая дверь в комнату, где заперто чудовище.

Оставались кое-какие заботы материального свойства. По еврейскому обычаю похоронили мать в тот же день, так что на погребение он в любом случае не успевал – но, по тем же причинам, вряд ли и поехал бы, а так не было и возможности. Управление всеми ее иму-

ществственными делами взял вновь вынырнувший из Макарова или Бендер дядя Иось: он же, собственно, и отправил телеграмму Льву Львовичу. Тот обменялся с ним еще несколькими телеграммами, причем его корреспондент, демонстрируя свою рачительность, опускал ради экономии отдельные слова, что в сочетании с обычными телеграфными искажениями давало на выходе какие-то шарады («priluga vse dom zdam»): вероятно, это следовало понимать так, что весь домашний штат рассчитан, а недвижимое имущество предназначается для долгосрочной аренды. Лев Львович, враз оставшийся без семьи и родового гнезда, хотел было переспросить, что станет с его одеждой, микроскопом и скопившейся небольшой библиотекой, но потом, припомнив русскую поговорку про голову и волосы, плюнул и махнул рукой. Как потом он рассказывал с обычной своей сардонической усмешкой, набивая трубочку душистым табаком с добавлением цветов фиалки, отчего-то он эту плачущую голову из поговорки представлял очень хорошо, причем мысленно связывал ее с давним своим кишиневским лысым приятелем, который и вправду имел основания грустить по утраченной шевелюре. В воображении, несмотря на это, голова действительно пускала по щеке горячие слезы, покуда палач, только что совершивший обряд декапитации, искал, как бы ее получше ухватить, чтобы показать народу, и в результате приподнимал за уши, как затравленного зайца.

Телеграфный стиль не располагал к подробным объяснениям, но Лев Львович сумел предположительно удостовериться, что дядя Иось, по крайней мере, не склонен урезать его ежемесячные поступления («как prezde ne obizu»). Окончательный же расчет по имуществу, равно как и вступление в права наследства, он решил отложить на потом. Несмотря на то что телеграф мог исправно приносить новые сведения в любой уголок Европы, Лев Львович считал, что он должен чего-то дожидаться в Вене, не двигаясь дальше: может быть, ему подсознательно хотелось отсидеть положенный недельный траур по матери. Впрочем, в полном смысле слова он не сидел, а скорее ходил, бесцельно бродя по городу, время от времени присаживаясь на какую-нибудь скамейку и бессознательно вперяясь долгим взглядом в прохожих, которые, случайно перекрестнувшись с ним глазами, прибавляли шаг.

Здесь, на каком-то из бульваров, произошла у него знаменательная встреча, истинное значение которой он понял, как это обычно бывает, потом – недели, а то и месяцы спустя. Мне, кстати, кажется, что у нашей породы существует особенный подвид, предназначенный именно для таких случаев. Если в земных армиях, помимо традиционной пехоты, артиллерии и всего в этом роде, имеются, как пишут в газетах, всякие отряды особенного назначения, какие-нибудь британские гуркхи в смешных шапочках или австрийские горные егеря, то, может быть, и среди нас есть те, чья работа состоит не в постоянном пригляде, а в разовых акциях? Вроде стрелки на железнодорожных путях: вот едет поезд по прямой дороге – так человек живет свою обыденную жизнь. И вот происходит событие, а чаще встреча – и он сворачивает в сторону с устоявшейся, уже привычной колеи и направляется куда-то вбок. Ну или оказывается под откосом, так тоже случается.

Лев Львович сидел на скамейке в парке и по явившейся у него в последние недели привычке что-то чертил тросточкой на песке, когда внимание его привлекла суета неподалеку. Причиной суеты оказался довольно звероподобный нищий или сумасшедший (а вероятно, и то и то вместе): вопреки обычаю своих товарищей по ремеслу, он не сидел смиренно на уголке, сложив перед собой картуз с медяками, а обходил одного за другим наслаждающихся променадом венцев, весьма требовательно собирая с них мзду. Народу, по случаю выходного дня, в парке было полным-полно, от бонн или матерей, гуляющих с детьми, до почтенных бюргеров, вкушающих за газеткой утренний кейф между последней порцией кофе со сливками и первой кружкой пива. Нищий – крупный малый, заросший спутанными волосами и такой же, черной как смоль, бородищей, одетый в какую-то диковинную шинель со споротыми пуговицами, самоуверенно подходил к скамье и плюхался рядом с сидящими там господином или дамой, причем делал это в нарушение всех конвенансов – практически бок о бок. Тот или та,

естественно, отрывались от своих дел и недоуменно взглядывали на пришлеца, заодно стараясь испепелить его взглядом. Тот что-то такое говорил, отчего его собеседник, как правило, лез в карман и подавал монетку, на чем беседа и заканчивалась, а попрошайка переходил к следующей скамье. Но если оскорбленный вторжением венец медлил, отказывался или просто не имел с собой мелкой монеты, нищий впадал в неудовольствие, которое вполне недвусмысленно выражал. Сперва он поднимался и, скрестив руки в позе Наполеона, нависал над отказавшимся платить господином; потом, видя, что это не действует и тот продолжает читать свою газету, заходил ему за спину и начинал легонько постукивать по скамейке; потом, подобрав с земли ветку, кончиком ее пытался пощекотать бедолагу, все делавшего вид, как будто к нему происходящее никак не относится. Затем, увидев, что и ветка не помогает, удивительный нищий вставал на четвереньки и очень споро бежал к скамейке, так что полы его шинели мели прямо по песку (что задним числом объяснило их белесоватый цвет). Подобравшись поближе к внешне невозмутимому читателю газет, он сперва несколько раз очень натурально гавкал, потом поворачивался к нему спиной и начинал быстро-быстро рыть песок руками, как собака иногда копает землю лапами, так что быстро засыпал несчастному все брюки. Тут, наконец, жертва его не выдерживала и, вскочив и сложив газету, быстрым шагом направлялась к выходу. Сумасшедший, захохотав, вновь вставал на ноги, отряхивал шинель, проверял, не выпали ли из карманов собранные монетки, и отправлялся дальше совершать свой обход.

Лев Львович, сидевший шагах в тридцати от этой сцены, наблюдал за ней сперва довольно холодно, мысленно прикидывая, в какой момент, если бы дело происходило в Петербурге, на сцене показался городской: по всему выходило, что случилось бы это почти сразу. Однако, по мере того как нищий подбирался к нему, в нем зрела какая-то несвойственная ему ярость – как будто все несчастья, в последнее время на него свалившиеся, воплотились в этой нелепой фигуре. Он сжал трость так, что пальцы его побелели, решив про себя, что если нищий попробует повторить с ним тот же фокус, то пару ударов палкой он точно сумеет нанести, а дальше, может быть, уже вмешается и полиция. Мысль эта отчего-то была ему приятна: как будто возможность выплеснуть силу, хоть и пострадав при этом (нищий был примерно той же комплекции, но явно лучше разбирался в практике уличных сражений), могла отвлечь его от тягостного фона последних недель.

Нищий, физиогномист поневоле, оценил подобравшегося Льва Львовича и, еще подходя, ослабился, но тактику свою не переменил: подошел и плюхнулся ровно посередине его скамьи, после чего, закатив на секунду глаза, как бы в облегчении, вынул из кармана затрепанный картуз и шутовским движением протянул Рундальцову. «Дайте, пожалуйста, монетку на счастье, добрая женщина», – протянул он по-немецки тоненьким голоском. «Пошел вон», – отвечал ему сквозь зубы Лев Львович. «Das verstehe ich nicht», – занял тот. «Уйди прочь, ублюдок», – повторил Рундальцов. «Не ошибусь ли я, предположив, что вы, сударь, русский?» – проговорил вдруг странный нищий, на этот раз совершенно нормальным голосом. Рундальцов глянул на него: перед ним сидел, хотя и довольно экстравагантно смотрящийся, но совершенно нормальный на вид человек с пронзительными светлыми глазами – и даже бородой своей он больше напоминал народовольца Желябова, чем обычного умалишенного.

8

В маленьком ресторанчике, куда нищий привел Рундальцова, вдоль всей стены шла полка, на которой стояли клетки с непрерывно чирикающими канарейками. В Саратове, Казани или Москве можно было бы предположить, что сделано это в расчете на загулявших купчиков, которые в подражание своим легендарным предкам нет-нет да и закажут зажарить певчую птичку, но тут это было знаком чистой сентиментальности, да еще и непрактичной – ибо из клеток этих летела шелуха, из-за чего драгоценное пространство рядом с ними пропадало для коммерции. Едва поспевая за новым знакомым, Лев Львович не переставал удивляться способности сознания достраивать цельную картину по двум-трем штрихам. Собственно, похожий пример, давно его позабавивший, как-то попался ему в одном из популярных журналов, чуть ли не в «Ниве»: в статье, повествующей о тайнах человеческого мозга, один абзац был набран с множеством специально сделанных опечаток, между тем прочитывался он безупречно: так автор демонстрировал, что глаз при чтении слова видит лишь каждую вторую-третью букву, восстанавливая остальное самостоятельно. Так и здесь: по улице вышагивал статный, прямо держащийся крепкий бородач в осеннем пальто иностранного покроя, хоть и слегка, кажется, припорошенном пылью: все отталкивающие стороны его образа были дорисованы в собственном уме Льва Львовича благодаря необыкновенным обстоятельствам их знакомства.

Биография Семена Федоровича Небожарова, как представился бывший нищий, до определенной степени напоминала историю самого Льва Львовича, с той только разницей, что он спешно бежал из России, спасаясь не от приговора революционного суда, а от назойливого внимания полиции. Дело было лет десять назад: группа студентов придумала остроумную штуку. В тогдашней университетской практике обычно не существовало печатных учебников – профессора читали оригинальные курсы лекций, а студенты их исправно конспектировали, чтобы потом готовиться по конспектам к экзаменам. Но поскольку во все времена и во всех странах студенты склонны пренебрегать посещением лекций, когда их отвлекают более важные дела, конспектов вечно не хватало, так что еще в конце прошлого века был найден выход из положения: лекции размножали на гектографе. Выглядело это так: на бойнях покупался желатин и из него, смешав с глицерином, варили специальную массу вроде желе. Ее охлаждали в специальных жестяных поддонах. На этом подготовка заканчивалась и начинался собственно процесс тиражирования: брали конспект, сделанный кем-нибудь из самых успевающих студентов, зачастую с предыдущих курсов. Лист конспекта переписывался разборчивым почерком специальными несохнущими чернилами, после чего укладывался на поднос со студнем и прокатывался валиком. Дальше надо было изловчиться и аккуратно, не смазав чернила, этот лист снять, после чего можно было положить сверху на поддон чистый листок бумаги и прокатать его: если все было сделано правильно, на нем оставался четкий оттиск. Следом, не мешкая, надо было положить еще листок, за ним следующий... всего удавалось сделать до полусотни отпечатков.

Преимущество этой техники было в том, что для нее, по сути, ничего не требовалось: ни шрифт, как для типографии, ни камни и станок, как для литографической мастерской. И вот трое энергичных юношей, возглавляемых Небожаровым, задумали печатать так не лекции по строению пищеварительных желез, а сочинения Герцена, на тот момент полностью запрещенные в России. Как и во всякой удачной негоции, цели у них были две – приблизить падение царизма и при этом немножко заработать. Но едва успел разойтись первый тираж брошюры «Юрьев день! Юрьев день!» ценою в два рубля за экземпляр, как на след предприимчивых печатников вышли жандармы, повязавшие одного из распространителей с поличным. Двое компаньонов, не дожидаясь, пока он назовет их имена, ударились в бег: один куда-то вглубь

России, намереваясь добраться до Сибири и там, как он выражался, «переждать бурю», а Небожаров, напротив, выехал в западные губернии, где тайком перешел границу.

Сперва он добрался до Мюнхена, где находился тогда центр русской политической эмиграции: отчего-то Небожаров пребывал в полном убеждении, что стоит ему назваться и объяснить, при каких обстоятельствах он покинул любезное отечество, как о нем непременно позаботятся. В действительности оказалось, что до него здесь нет решительно никакого дела и судьба его никого не занимает, но если бы вдруг он задумал отправиться обратно в Россию, то ему охотно дали бы с собой некий пакетик, который нужно было бы отдать верному человеку в Петербурге. Такая перспектива не устраивала его категорически. После неуспеха в Мюнхене он попытал счастья у другой, враждующей с мюнхенской, группировки, оккупировавшей Лозанну (попутно отметив, что, вопреки прокламируемой неприхотливости в быту, социал-демократы весьма придирчиво выбирают места для резиденций). Жившие в Лозанне были поприветливее, накормили его обедом в ресторане-поплавке, пришвартованном к набережной озера Леман, и подарили автограф Рубакина, но помочь также ничем не смогли, ритуально, впрочем, посочувствовав о жестокосердостью мюнхенских оппонентов.

В результате Семен Федорович оказался в положении, которое он сам охарактеризовал как «пиковое» – посередине Европы, в полном одиночестве, с малой толикой взятых из дома и стремительно тающих денег – и без всяких идей о дальнейшем существовании. Сперва он подумывал вернуться в Россию, сдать ся полиции и отправиться в тюрьму, но эти перспективы, живо ему рисовавшиеся, так контрастировали с открывавшимися вокруг картинами (он все еще был в Лозанне), что его решимость поневоле затухала, не успев разгореться. Тем более, как выяснилось, Европа, по крайней мере эта ее часть, была буквально наводнена русскими, находившимися в сходном с ним положении. Большая их часть оказались за границей при похожих обстоятельствах – и, когда первый шок бегства проходил, все они оказывались более или менее на одной линии: и даже Небожаров имел по сравнению с большинством своих товарищей по несчастью изрядное преимущество, поскольку знал по-французски и по-немецки. Это сильно расширяло его возможности – в поисках грошового заработка он мог не замыкаться в рамках русской колонии, а соперничать в борьбе за кусок хлеба с автохтонными бедняками. Кроме того, он был здоров и силен физически.

Несколько лет он провел, на манер какого-нибудь португальского батрака, нанимаясь в сезонные рабочие – сперва на сбор лимонов и апельсинов на юге Франции, а после – сдвигаясь по мере созревания плодов земных все дальше и дальше на север, иногда прибывшись к компании таких же, как он, – немногословных, жилистых, пропыленных парней, по субботам просаживающих половину недельного заработка в кабаке папаши Трюдо и заведении мадам Мадлен; иногда странствовал неделями один, ловя настороженные взгляды местных крестьян и заинтересованные – их раздобревших на здоровой пище дочерей. С окончанием сезона, где-нибудь среди голландских картофельных полей, он опять скатывался вниз – где на поезде, а иногда и просто «легкими стопами», по его собственному выражению, – а на юге между тем наливались под робким, но ласковым солнцем плоды нового урожая.

Однажды этот календарный круг был прерван болезнью, заставшей его в Париже, где он оказался случайно, вроде как заснув на платформе товарного поезда, куда пробрался, естественно, тайком. И там, пролежав две недели в жестокой лихорадке, и потом, впервые выползая на улицу под блеклое небо (было начало мягкой парижской зимы), обнаружил, как разоблаченный Черлоком Гольмсом мошенник, что старое доброе нищенство на голову выгоднее всех других доступных ему занятий. Он сидел на скамейке где-то недалеко от парка Монсо, поглядывая одним глазом, чтобы не попасться на глаза ажану, – и вдруг задремал, а когда проснулся, спустя полчаса или час, обнаружил, что упавший с его головы картуз до половины наполнен мелочью. Сосчитав ее и поменяв в ближайшей лавочке на несколько купюр (которые было проще зашить в подкладку пальто, чтобы не рисковать, ночуя среди таких же оборванцев),

он крепко задумался и, по здравом размышлении, переменял свою жизнь. Теперь он кочевал лишь между крупными столицами (в мелких городках, не говоря о деревнях, подавали скудно), причем следовал в их выборе больше своему внутреннему зову, нежели логике, хотя какие-то рудименты прежних привычек сохранял: зимой откочевывал в Мадрид, Толедо, Порту, а летом, напротив, поднимался к северу. Эскапады, подобные той, что застал Рундальцов, предпринимал довольно редко и под настроение – это он называл «погонять бургеров, чтобы не зажирели», – обычно же просто пристраивался на людном месте и подремывал, положив рядом шляпу: было в его облике нечто такое, что поневоле заставляло обывателей раскошелиться. Рундальцова он окликнул и угостил, несмотря на его легкие протесты, затем, что ему понадобилась от него небольшая услуга.

– Почте я не доверяю, – говорил он, уплетая ароматную похлебку из глиняной тарелки, которую ему подала хозяйка (здесь его знали и явно привечали). – А переписку кое с кем веду. Но лишь посредством почтовых голубей.

Рундальцов, быстро прикончивший свою порцию и пощипывавший бриошь, внимал.

– Люди изводят бумагу, чернила и собственное время совершенно нерационально. Я же пишу только при самой неоспоримой okazji. Вы сейчас куда?

– Собирался в Швейцарию.

– А точнее?

– В Лозанну.

– А еще точнее?

– Пока не знаю, отыщу пансион на месте.

– Тогда отвезете письмецо? – сообщил тот полувопросительно-полуутвердительно. Лев Львович кивнул. Небожаров подозвал вертевшуюся неподалеку хозяйку и велел принести писчих принадлежностей. На сцену тут же явились несколько листочков бумаги, перышко-вставка и бронзовая чернильница, в которую Семен Федорович сперва брезгливо заглянул, после поболтал там кончиком пера, извлек его, поглядел и остался, видимо, удовлетворен осмотром. После чего, плюхнув локти на стол и как-то весь искривившись от старания, стал быстро покрывать лист бумаги крупными, съезжающими к краю строчками. Лев Львович спросил себе еще кружку пива, но не успел допить ее и до половины, как дело было сделано. Подув несколько раз на листок, чтобы просушить, нищий сложил его вдвое, потом еще раз, потом аккуратно упаковал в конверт. Дальше он сделал то, что снова удивило Рундальцова: из наружного кармашка шинели, где, по замыслу портного, должно было храниться что-то смертоносное, вроде капсулей или хоть капсулы с ядом, он достал массивное золотое кольцо с блеснувшим в полутьме бриллиантом и вложил в тот же конверт. Тщательно заклеил его, показав на секунду красный мясистый язык, ворочавшийся у него во рту, как шпорцевая лягушка в подводном гроте, и крупными буквами надписал адрес и имя.

Насколько основательно конверт был запечатан отправителем, настолько небрежно, не прерывая разговора, его вскрыла та, кому он предназначался. Лев Львович, поселившись почти в первой попавшейся гостинице, выбрав ее за близость к озеру, вид на развалины замка и малолюдность, поспешил исполнить поручение недавнего знакомца. В Лозанне, несмотря на глубокую осень, погода была почти летняя, так что он решил пройтись и вскоре, поднявшись на очередной холм, буквально изнемог от жары. Летнее свое пальто он давно уже нес в руках, но, даже оставшись в легком сюртуке, чувствовал себя неуютно. Между тем решительность, с которой он желал поскорее отделаться от конверта, удивляла его самого. По всему выходило, что сперва стоило подобрать себе пансион, распорядиться насчет прибывшего малой скоростью багажа и вообще обдумать свою будущую жизнь: напротив, все, чего ему хотелось, – это выполнить поручение странного знакомца и во вторую очередь взять ванну. Елена Михайловна, чье имя было написано на конверте, жила на улице, обладавшей странным свойством: каждый житель Лозанны знал это название, но при этом у каждого было свое представление о том, где она

находится. В обычное время это позабавило бы Рундальцова, как и всякое вторжение легенды о святом Граале в обыденную жизнь, но сейчас, тащась в жару по вымощенным булыжником улицам, он предпочел бы осязать вокруг более линейную реальность. Наконец, слегка ошалев от разноречивых указаний прохожих, он купил в табачной лавочке за два франка карту, чья обложка была украшена лаконичным красно-белым местным гербом (который показался ему похожим на бокал, до половины налитый портвейном). Вопреки всем предшествующим инструкциям, отыскалась улица – короткая, заканчивающаяся тупиком, на ней – нужный дом, а в доме – высокая, черноволосая, смуглая Елена Михайловна, по-русски всплеснувшая руками, когда он сообщил ей, что привез конверт от Небожарова.

«Проходите, голубчик. Ну вот стоило так...» – не докончив фразы, она провела его в большую комнату, где на разномастных стульях за большим столом сидело еще несколько барышень, разложивших перед собой тетрадки, как на уроке. «Присядьте, пожалуйста». Одна из барышень, низенькая, почти карлица, бросилась в соседнюю дверь за табуреткой. Лев Львович попробовал было откланяться, но был почти насильно остановлен и усажен. «Мы все равно собирались прерваться и выпить чаю», – проговорила Елена Михайловна, открывая конверт. Кольцо выпало и покатилося по столу, произведя движение в собравшихся: кто-то смотрел заинтересованно, кто-то изумленно, а карлица, неожиданно для Рундальцова, уставилась на него с неприкрытой неприязнью. Елена Михайловна, вся залившаяся краской, вытащила письмо и, пробежав глазами, как-то нарочито рассмеялась. «Ах, ну вот глупости. Впрочем, похоже, сегодня мы спасены». «Клавдия, душка, – проговорила она, наклоняясь и подбирая застрявшее в ворсе ковра колечко, – отнеси это, пожалуйста, в заклад, а то и попробуй продать, да не дорожись особо. И купи нам чего-нибудь поснедать». Карлица, подхватив кольцо, вышла, бросив на Рундальцова торжествующий взгляд.

За следующий месяц Лев Львович, снявший комнату в соседнем пансионе, приблизительно разобрался в устройстве этой своеобразной коммуны, сочетавшей в себе признаки фаланстера и женского монастыря. Все его обитательницы были родом из России, кто-то из Петербурга, две барышни с Волги, еще три – из каких-то маленьких городков в черте оседлости. Приезжали они в Швейцарию учиться в здешних университетах по разным причинам: кого-то смущал скудный выбор российских учебных заведений, куда принимали девушек, кое у кого примешивались и политические мотивы. Жили в основном в страшной бедности: иная ушла из семьи со скандалом, а у некоторых родители хотя и снисходительно относились к беглянкам, но не имели практической возможности помогать. Вообще по Западной Европе, и особенно в Швейцарии, насчитывалось несколько десятков, а то и сотен коммун подобного рода. Были не только пансионы, но и целые улицы, специализировавшиеся на русских постояльцах, – собственно, и сама русская община жила очень отъединенно, почти не смешиваясь с окружающей ее иноязычной средой. В Лозанне это как раз было устроено немного по-другому: именно в эти годы на деньги, завещанные местным русским богачом, строился новый университетский корпус, что заведомо давало землякам благодетеля если не прямое преимущество при поступлении, то, по крайней мере, небольшой заряд предварительной благожелательности.

Между прочим, этой толикой приветливости, ожидавшей любого русского, немедленно воспользовался и Лев Львович, предъявивший свои петербургские верительные грамоты на естественный факультет, где его, против ожидания, зачислили сразу на последний курс. На правах соседа и студента он порой захаживал к Елене Михайловне и ее подругам: сидел подолгу в гостинной, пил остывший чай под аккомпанемент обычных разговоров о том, что во всей Швейцарии невозможно найти обычный человеческий самовар, а у воды, вскипяченной на спиртовке, появляется неприятный, ничем не устранимый привкус; листал чудом забравшуюся на берега Лемана и прочитываемую тщательно, от заголовка до объявлений, русскую газету. Иногда встречал он там и других студентов-мужчин, но в таких случаях, отсидев молча достаточное время, чтобы не показаться совсем уж неучтивым, собирался и откланивался. С барышнями

же, напротив, был не то чтобы говорлив, но достаточно любезен и приветлив, чтобы поддерживать ни к чему не обязывающую беседу.

Состояние его духа было далеко от тщательно изображаемой безмятежности. В разгульной жизни «до катастрофы» (как он привык называть про себя годы своего первого студенчества и кишиневской карьеры) он легко и быстро сходился с женщинами и так же легко расставался; в Петербурге вел совершенно монашескую жизнь – и только тут, на берегу Женевского озера, в окружении ласковой природы, стал постепенно оттаивать. Как вылупившийся из яйца птенец признает в первом крупном живом существе, попавшемся ему на глаза, собственную мать и доверчиво следует за ней (такие картинки любили печатать в «Живописном обозрении»: собака выводит на прогулку цыплят), так и сердце Льва Львовича, впервые за несколько лет почувствовавшее потребность в любви, обратило весь свой нерастроченный жар на Елену Михайловну. Сперва он, припоминая куртуазные повадки своей, казавшейся далекой, юности, пробовал выражать симпатию обычными для Кишинева способами: приносил роскошные, перевитые архиерейскими лентами, густо пахнущие коробки конфет (благо в Лозанне на каждом углу был их превеликий выбор), пышные букеты роз; приглашал кататься на лодке (от чего Елена Михайловна либо отказывалась, либо тащила с собой всю компанию).

Самое трудное было оторвать ее от подруг, и особенно от карлицы Клавдии, которая липла к ней как банный лист. Путем хитроумных расспросов, обиняками, направляя разговор в нужное русло и притормаживая его при любой попытке отступления от единственной темы, он выяснил, что Елена Михайловна давно хотела посмотреть одно особенное место в горах неподалеку. Оно было не слишком примечательным в туристическом или альпинистском смысле: в горах кантона Во таких десятки, если не сотни – альпийский луг, озеро, вид на заснеженные горные пики. Но один из властителей русских интеллигентских дум, популярнейший публицист, уснащавший своими непомерных размеров рассуждениями третий отдел «Современного мира» и «Русского богатства», однажды имел несчастье провести на этом самом месте три дня в пастушьей избушке, о чем потом написал пару юмористических абзацев. Для меня это всегда составляло глубокую тайну: что заставляло тысячи умных, образованных, чувствительных юношей и девушек покупать на претенциозную, унылую, многословную чепуху либеральных публицистов. Во всех этих многостраничных суждениях (страдавших среди прочего от первородного греха русской журналистики – полистной оплаты) не было ни живого слова, ни человеческой эмоции, а только бесконечное пережевывание прописных истин, перемежающееся грубыми выпадами в адрес оппонентов. Один из этих пыльных мерзавцев, сумевший чем-то досадить даже швейцарской полиции (по традиции смотревшей сквозь пальцы на мелкие эмигрантские усобицы), вынужден был спешно покинуть свое убежище в деревушке Морж и отправиться в Невшатель, но что-то у сопровождавших его лиц пошло не так, из-за чего ему пришлось отсиживаться в горах. Не теряя времени даром (или просто имея нужду выплеснуть скопившийся яд), он успел набросать за эти три дня заметку «Кубарем... в объятия левой буржуазии», впоследствии прославленную. (Между прочим – не подсказало ли ему идею заглавия какое-нибудь маленькое происшествие по пути наверх? Жаль, что при этом он не свернул себе шею.)

В этой заметке в качестве примера неотвратимости работающего механизма упоминался рассвет в горах: смысл был таков, что с решимостью встающего солнца рано или поздно рабочий народ поднимется на борьбу со злокозненной властью. Но тут, вдруг увлекшись, он выскочил пером из привычной дорожки и успел исписать три десятка строк, прежде чем вернулся обратно: о том, как он ночует в сложенной из камней хижине, где ночью сквозь редкую черепицу видны звезды, как стоит здесь легкий успокаивающий молочный запах от многих поколений парнокопытных, переживавших непогоду, как посвистывают, перекликаясь, ранним утром сурки и как огненный диск солнца поднимается точно между двух зубьев горы, сперва подсвечивая их красно-оранжевыми лучами и вдруг зажигаясь огненной точкой прямо в разде-

ляющей их ложбине. Именно эту хижину, быстро сделавшуюся популярным местом русского паломничества, хотела посмотреть Елена Михайловна.

Рундальцов, хитроумный стратег, арендовал для прогулки изящный кабриолет с запряженной в него косматой пегой лошадкой, намереваясь править сам: владелец снабдил его подробнейшей инструкцией по обращению с конем (сам француз, он почему-то почтительно именовал его по-немецки, *der pferd*). О его привычках и фобиях хозяин мог, вероятно, говорить часами, как о хворях близкого родственника: конь любил груши, боялся крупных белых собак, не любил ехать под горку, обожал песок, который подбрасывал в воздух копытами, страшно злился, когда его пробовали подбодрить вожжами, не говоря про кнут, etc. Лев Львович, занятый своими мыслями, машинально кивал, покуда лошадь, явно понимая, что речь идет о ней, иронически посматривала на беседующих, слегка переминаясь от нетерпения. Докатив до пансиона и провозившись несколько минут в поисках, куда бы привязать капризное животное, он – облаченный в новый песочного цвета альпийский костюм – позвонил в дверь, чтобы вызвать Елену Михайловну. И велико же было его удивление, огорчение и даже гнев, когда она (в обычном своем платье и шляпке) явилась вдвоем с карлицей, одетой, кстати, вполне по-походному и даже с альпенштоком.

В результате вместо грезившейся ему романтической прогулки вышел многочасовой кошмар. Клавдия, после попытки втиснуться между ними, в результате уселась на колени к Елене Михайловне, причем та не только не пыталась протестовать, а даже как будто была этим обстоятельством довольна. Беспрестанно ерзая, карлица время от времени ударяла Льва Львовича по щиколотке тяжелыми горными ботинками. Прохожие поглядывали на их действительно необыкновенную тройцу, с трудом сдерживая улыбки. Конь, увидев третьего седока и немедленно затаив обиду в сердце своем, вез их, как будто специально выбирая ямки поглубже и булыжники помассивнее, из-за чего кабриолет непрерывно ходил ходуном, словно лодка в бурю. От этого ближе к вершине карлицу укачало, так что Рундальцову и Елене Михайловне пришлось наблюдать ее трагически содрогающуюся спину, погружившуюся до половины в заросли дрока. В довершение всего, когда они были совсем рядом с хижинкой, набежали вдруг тучи и полил дождь, вынудив их, по примеру легендарного марксиста, спрятаться прямо там, – и выяснить, что описанный им легкий молочный аромат представляет собой в действительности почти нестерпимый козий смрад.

Не лучше был и обратный путь. Дорожка, по которой еще два часа назад капризный Росинант бодро катил наверх, превратилась в широкий, красный от глины ручей, плещущий по камням. Рундальцову, и без того удрученному неудачей давно задуманного плана, то и дело приходилось выскакивать из коляски, скользя по грязи и безнадежно марая выходной костюм, чтобы где понукать, а где придержать лошадь, которая склонна была винить в происходящем именно его. Елена Михайловна тем временем обнимала недужащую Клавдию, которая, как оказалось, боялась высоты. Через несколько часов, когда они добрались наконец до пансиона, выяснилось, что бедняжка заснула, и Льву Львовичу пришлось нести ее – грязную, костлявую, пышущую жаром, но очень легкую – наверх, на второй этаж. И только уложив Клавдию на постель в спальне Елены Михайловны (где он оказался в первый и последний раз) и оставив их вдвоем, он с изрядным запозданием понял, что постоялиц в пансионе было на одну больше, чем спален, и, следовательно, широкая эта кровать с медными гнутыми прутьями и старомодными шишечками на изголовье и изножье – обычное ее место.

Не сказать, чтобы это открытие его поразило: прислушиваясь к себе, он понял, что наличие счастливого соперника одного с ним пола уязвило бы его значительно сильнее. Вмешательство же сапфических страстей выводило всю историю в какое-то другое измерение: одно дело – когда прекрасная дама меняет храброго рыцаря на храбрейшего, и совсем другое – когда ее уносит в когтях огнедышащий дракон. Тем более что после того случая в их отношениях что-то переменялось в лучшую сторону – связавшая их тайна, несмотря на свой сравнительно

некрупный калибр, придала им какую-то особенную близость заговорщиков. Интересно, что особенно радикально помягчала к нему Клавдия, может быть до последнего момента беспокоившаяся, что Елена Михайловна может безвозвратно выскользнуть из ее объятий. Убедившись в обратном, она сделалась, напротив, даже излишне заботливой, подкладывая при общих трапезах в тарелку Льва Львовича особенно лакомые кусочки и вызвавшись однажды пришить ему оторвавшуюся пуговицу (что он категорически отклонил). Другой не без труда преодоленной неловкостью стал денежный вопрос: Елена Михайловна была родом из какого-то волжского городка, из старообрядческой семьи, причем в свое время она буквально бежала из дома в чем была. Отец, вычеркнувший ее из завещания и из сердца, прямо запретил домашним посылать ей деньги, а поскольку неприкосновенность купеческой мошны обеспечивалась всеми патриархальными обычаями, матери или тетке редко-редко удавалось отправить ей скромный перевод. Клавдия же вовсе была сиротой. Поэтому, невзирая на первоначальные весьма решительные протесты, со временем Льву Львовичу милостиво было позволено брать на себя общие расходы – весьма, впрочем, незначительные по крайней скромности обеих.

Совместные трапезы, между прочим, выпадали им не так уж редко: после памятного фиаско они регулярно предпринимали дальние прогулки, в которых, наученные опытом, пользовались в основном поездом, а то и шли пешком. Выглядело это на сторонний взгляд довольно комично: высокая, стройная Елена Михайловна вышагивала своими крепкими, длинными ногами, обутыми в козловые сапожки; рядом, держа ее под руку, а то и за руку, семенила Клавдия, которая была чуть не вдвое ее ниже. Немного поодаль, непременно в особенном английском костюме для занятий спортом, шагал Лев Львович. При переправах через ручьи он подхватывал карлицу на руки: она, дурачась, обнимала его за шею, картинно откинув руку, он делал вид, что потрясенный до головокружения, готов уронить ее в воду; Елена Михайловна хохотала.

Так побывали они в ближних и дальних горах, ездили в Женеву и Монтре, плавали по озеру на рыбацкой лодочке, ужинали втроем в маленьких ресторанах, облепивших берег. Уклонялся Лев Львович только от посещения публичных мероприятий, устраиваемых колонией, – от лекций заезжих политэкономов до чаепития в русском стиле – и даже язвил по этому поводу, что упомянутый стиль подразумевает сперва питье скверной водки, а после танцы под гармошку, завершающиеся дракой, а то и оргией. Вспоминая эти сравнительно безмятежные месяцы, Рундальцов удивлялся, насколько мало времени по сравнению с Петербургом занимала у них учеба: две, много три лекции в день, а с начала весны исчезли и они – началась подготовка к экзаменам. Чтобы не мешать другим пансионеркам, Елена Михайловна с Клавдией иногда приходили готовиться к нему, в его большую и казавшуюся пустынной комнату с видом на дворик со стоящим в глубине гаражом, перед которым ежедневно, с утра до вечера, двое серьезных усатых мужчин чинили один и тот же автомобиль на тонких высоких колесах. Усевшись за большой круглый стол (Лев Львович заранее озаботился наличием достаточного количества стульев), они часами просиживали за книгами и конспектами. На жестяном подносе стояла бензиновая машинка, купленная в скобяной лавке неподалеку; на ней медный закопченный чайник; рядом – четыре чашечки костяного фарфора и пузатый заварник с изображением недоумевающей коровы с колокольчиком на шее. Клавдия готовила очень крепкий, шоколадного цвета чай и, дав ему настояться, разливала по чашкам. В картонной коробочке, на хрустящей коричневой бумаге, оплывшей пятнами масла, лежало внавалку круглое печенье с глазками изюма; в золотой фольге, наломанная на дольки, таяла в жарком сухом воздухе шоколадная плитка. Запечатлевшая эту картину фотография (которую Лев Львович показывал мне тайком от жены) была сделана одной из подружек Елены Михайловны, получившей на именины «Кодак» и педантически фиксировавшей все детали их эмигрантского быта. Она, конечно, черно-белая – но я почти уверена, что печенье было желтым, этикетка шоколада – красной, а чайник – медным. Через всю фотографию падает длинная, черная, неловкая полоса:

начинающая кодакистка (как тогда выражались) стала по инструкции спиной к свету, не сообщив, что сама она при этом выдаст тень на полкадра: что-то вроде грозного предзнаменования.

Которое так или иначе обязано было сбыться. Поздней весной все трое заканчивали университет. Лев Львович, впервые за несколько последних лет обретший не только подобие семьи, но и сравнительную умиротворенность духа, готов был остаться в Лозанне еще на год, два или куда придется – до такой степени был ему по душе сложившийся у них образ жизни. Некоторое неудобство доставляло затянувшееся монашество, которое после оттаивания всех чувств начало его слегка тяготить, но и тут, как он доверительно в свое время сообщил мне, нашелся кое-какой выход. (Он явно ждал соответствующего вопроса, но мне совершенно не хотелось выслушивать гусарскую историю о покоренной модистке или цветочнице.) Предстоящее безделье его не угнетало: более того, он предлагал своим подругам (а по сути одной лишь Елене Михайловне, поскольку Клавдия последовала бы за той куда угодно) несколько планов разной степени соблазнительности, как то: поступить всем троим на какой-нибудь новый факультет того же или, допустим, Берлинского университета, либо отправиться в кругосветное путешествие, либо даже купить клочок земли где-нибудь в горах над Монтре и заняться сельским хозяйством. Он был, в общем-то, неисправимым романтиком, воображая Елену Михайловну в каком-нибудь швейцарском сарафане с подойником, Клавдию, раскрасневшуюся от огня очага, и себя самого в смазных сапогах, наигрывающего на свирели какие-то особенные бержеретты (которые еще только предстояло выучить, а то и собственноручно написать) для чистеньких, отмытых овечек, декоративно пасущихся на благоухающих лугах.

Елена Михайловна тоже была романтик, но другого рода. Для этого поколения русских студентов святыней высшего разбора был народ: причем понимали они под этим, конечно, не совокупность соотечественников, а некоторую отвлеченную идею, не имевшую никакой вещественной проекции в окружающей жизни. Льву Львовичу, практически не вкушившему этих партийных искушений, виделось в таком мировоззрении что-то суфийское. Эти юноши и девушки, встречавшиеся ему еще в Петербурге, но особенно часто попадавшиеся здесь, практически поклонялись народу: вся реальная деятельность, которой они были готовы не только посвятить жизнь, но и, при необходимости, отдать свою кровь до последней капли, имела своей целью и объектом народ – но каждый из них затруднился бы этот народ описать. При изредка возникавших дискуссиях на эту тему Лев Львович пытался было действовать апофатически, спрашивая: «А вот я – народ?» – «Нет». – «А вы – народ?» – «Тоже нет». Смысла в этом было немного: по всему выходило, что существуют какие-то гипербореи или аримаспы, буквально не познаваемые человеческими органами чувств, – и именно они, взятые в совокупности, представляют собой объект усилий, единственно возможный для всякого честного человека. Для этих аримаспов печатались революционные газеты, ради них взрывали правительственных чиновников (не щадя при этом и случайно подвернувшихся представителей другого, неправильного, народа), с мыслями о них умные, чистые, образованные люди шли на каторгу и на эшафот – притом что сами аримаспы, может быть, и не подозревали о масштабах жертв, которые ради них были принесены.

На этом фоне Елена Михайловна казалась чуть не образцом практичности: сочувствуя всем сердцем революционной борьбе, она, по врожденной мягкости характера, хотела не разрушать, а строить (за что была клеймена соглашательницей и даже почему-то эмпириокритицисткой). Она хотела уехать куда-нибудь на север России, чтобы поступить в земскую больницу. Мечтой ее было сделаться врачом, как легендарная Дора Аптекман, но начать восхождение к этой вершине она была согласна и с должности фельдшера. Лев Львович старался ее отговорить: северный быт он представлял себе с трудом (и не ждал от него ничего хорошего), но земские врачи ему встречались и на юге. По большей части это были пожилые мужчины, махнувшие на себя рукой и вяло барахтающиеся в угнетающей рутине провинциального быта.

Соответствующим было и отношение к ним со стороны пациентов: недоверие, скандалы, грубость (зачастую обоюдная) – и порой пароксизмы злобы, вплоть до эпизодов кровной мести со стороны безутешных родственников какого-нибудь безнадежного больного. Лев Львович пытался вообразить себе Елену Михайловну вправляющей вывих смрадному пьянице, объясняющейся с базарной торговкой или просто идущей мимо кабака пятничным вечером – и его тошнило от болезненных предчувствий; она же была непоколебима.

Единственным светлым пятном во всех этих прелиминариях (а уже шныряли туда-сюда письма с казенными штампами Министерства здравоохранения, и кто-то из местных либеральных бонз, чуть ли не сам Плеханов, писал рекомендательное письмо знаменитому Шингареву) была история с венчанием. Справедливо предполагая, что состав их небольшой компании (а в том, что Рундальцов и Клавдия последуют за ней, никто и не сомневался) нуждается в объяснении для внешнего зрителя, Елена Михайловна решила соединиться с ним фиктивным браком, после чего путешествовать в качестве семейной пары, взяв с собой Клавдию в мнимой должности домоправительницы. При этом решался еще один попутный, но немаловажный вопрос: Лев Львович имел таким образом основание принять ее фамилию – собственно, так он и стал Рундальцовым (прежнюю, еврейскую, он сообщил мне под большим секретом, взяв с меня клятву никогда ее не произносить). Несмотря на сугубо формальный характер предстоящего венчания, Лев Львович отнесся к нему со всей серьезностью: внутри его вновь парадоксальным образом ожили былые надежды, и ему стало где-то в глубине души казаться, что таинство, которому предстояло их связать, станет первым шагом на пути к действительному союзу. Он даже решил креститься, тем более что матери больше не было, а дядьям Пинхусам, несмотря на их не раз демонстрировавшееся могущество, скорее всего, узнать об этом было неоткуда. Ближайшая православная церковь была в Ве́ве, но своего причта у нее не было: служил батюшка из жене́вского Крестовоздвиженского храма, так что Рундальцову пришлось ради непростых переговоров съездить туда, навестив заодно и консула. Несмотря на довольно деликатную ситуацию (например, отсутствие благословения родителей), и священник, и консул охотно согласились на его просьбу: уже потом он понял, что на фоне действующей русской колонии, сплошь состоящей из атеистов, он смотрелся освежающе старомодно.

Дело взяло два дня: в первый из них Лев Львович был окрещен, причем восприемниками, о которых он вспомнил в последнюю минуту, согласились стать секретарь консульства с женой. Тремя днями позже состоялась скромная свадьба. Стоя перед аналоем и искоса поглядывая на безмятежное лицо Елены Михайловны, рассеянно бродившей взглядом по богатому убранству церкви, он поневоле воображал, что дело происходит в действительности – и сейчас, после скромного пиршества, они отправятся куда-нибудь вдвоем, в путешествие на край земли. Исподволь проникнувшись торжественной атмосферой, он представлял себе лишь целомудренную сторону их семейной жизни: гостиничные завтраки, романтические прогулки, катание на кабриолете, плоскодонке, собачьей упряжке. Впрочем, взгляд на стоявшую рядом Клавдию его отрезвил.

Совершившийся брак ничего не изменил в их обычном быте, если не считать того, что исчезло последнее существенное препятствие перед готовившимся отъездом. Тем временем пришел ответ из Петербурга: Елену Михайловну ждало назначение фельдшером в город Тотьму. В день получения письма они втроем отправились в русскую читальню, чтобы отыскать Тотьму в словаре Брокгауза и Ефрона. Барышни были перевозбуждены – возможно, из-за того, что нечто, много лет существовавшее в форме прожекта, вдруг начало сбываться. Особенно их почему-то повеселило, что, согласно словарю, в городе было пять тысяч без трех жителей: «Только нас не хватает до ровного счета!» – повторяли они и заливались совершенно ребяческим смехом. Рундальцов же, пребывавший во власти мрачных предчувствий, успел прочесть, что город стоит на реке с названием Песья-Деньга. Представилась ему крупная ушастая собака,

сжимающая в пасти монетку, причем представилась так ярко, что, казалось, можно протянуть руку и ее погладить.

9

Удивительно, что собака, очень похожая на ту, что пригрезилась ему в лозаннской читальне, встречала их прямо на тотемской пристани. По общему согласию через Петербург проехали почти не останавливаясь, только переночевав в гостинице недалеко от вокзала. Путешествовали везде вторым классом: компромисс между неисправимым сибаритством Льва Львовича и демократическими устремлениями его спутниц (каковые устремления, впрочем, сильно съезжились, когда по пути к своему вагону понадобилось протискиваться сквозь зловонную толпу, с боем забирающуюся в третий). В Вологде пришлось два дня ждать отправления парохода, и таким образом только на восьмой день путешествия они добрались до его конечной точки.

Помимо собаки встречал их на пристани еще и доктор Петр Генрихович Веласкес, заранее уведомленный о приезде нового фельдшера, причем сразу из двух источников: официальным циркуляром из губернского правления и частным письмом, явившимся из Женевы с прошлым пароходом. Неизвестно, что содержало в себе последнее и что вообразил он себе самостоятельно, но, судя по всему, сложность семейного устройства будущей фельдшерицы нисколько его не смутила. По внешности его трудно было что-то прочесть: он был очень молод, едва ли не моложе Рундальцовых, невысокого роста, сухощав, со смуглым лицом восточного типа, неподвижностью своей больше напоминавшим маску. Единственной уступкой стереотипному взгляду на обычный докторский облик было золотое пенсне, смотревшееся на его бесстрастной физиономии весьма нарочито, – как будто степной кочевник, разграбивший вместе со своей шайкой караван, решил для смеха пожить этой деталью из багажа выпотрошенного им купца-европейца. Поприветствовал он их с аффектированной сухостью и сразу начал деловито распоряжаться по поводу багажа: состоявшие при нем двое дюжих молодцов (приписанные, как позже выяснилось, к больнице) перетаскали сундуки и саквояжи в докторский возок и отправились прочь; самим же свежеприбывшим доктор предложил пройтись.

«На первое время-с, – говорил он, увлекая их за собой вверх по булыжной мостовой, поднимающейся сразу от пристани, – я взял на себя смелость расположить вас в пустующем ныне флигеле, но в ближайшие же дни вы, вероятно, наймете себе собственное жилище-с». Доктор слегка прихрамывал, но передвигался бы крайне быстро, если бы каждый третий встречный не считал долгом с ним поздороваться. «Смею верить-с, что служба вас не разочарует, – обратился он персонально к Елене Михайловне, – и что вы не будете скучать». Вероятно, какие-то сведения он получил и о Клавдии, поскольку обращался к ней тем же почтительным тоном, несмотря на то что формально она состояла кем-то вроде горничной. «Вы же, – заключил он, переводя свои колючие глаза с нее на Льва Львовича, – надеюсь, найдете себе дело, соответствующее вашим-с душевным склонностям-с. Многие советуют здесь рыбную ловлю-с, а некоторые пишут даже романы-с». В менее формальной обстановке и произносимое не с таким ледяным выражением это могло бы сойти за шутку, хоть и не слишком остроумную, но здесь прозвучало почти как оскорбление: впрочем, портить с порога отношения с доктором было бы весьма нерационально.

Тем временем и пришли. На диво ухоженное здание уездной больницы было, вероятно, построено в том же году: стояло оно буквой «П», к правой ножке которой лепился собственный дом доктора. Левый флигель был еще не обжит, но в будущих палатах уже стояли простые деревянные топчаны. Три первые палаты, которые в скором времени должны были вместить два десятка больных, оказались отведены путешественникам: сюда принесены были их сундуки, а краснощекая молодайка, весело поздоровавшаяся с доктором, расправляла и взбивала густо пахнущие сеном матрацы. На столиках были приготовлены спички и свечи в простых шандалах, а в двух из трех комнат стояли букетики васильков, воткнутых, за недостат-

ком посуды, в лабораторные колбы. Доктор пригласил всех троих (чем еще раз подчеркнул полноту переданных ему предувещаний) пожаловать к нему к восьми часам, предупредив, что ложится и встает он рано, так что визит будет недолгим. Рундальцов хотел и вовсе манкировать приглашением, сославшись на усталость, но Елена Михайловна частью уговорила, а частью совестила его, так что пошли втроем.

Квартира доктора была устроена с таким холостяцким шиком, что, если бы не виды из окошек (по-северному весьма небольших), можно было бы счесть ее находящейся в Тюбингене, Лионе или Манчестере: два больших шкафа с медицинской литературой на нескольких языках, изрядная коллекция курительных трубок, неприменный череп, используемый под пепельницу, скрещенные палаши на стене и здоровенная медвежья шкура, лежащая перед русской печью, которая одна во всем доме была ответственной за национальный колорит. Кое-что, впрочем, было и наособицу: на темных, как будто закопченных, бревенчатых стенах висели в простых рамках многочисленные картины весьма ядовитых оттенков.

За хозяйку была та же румяная девица, что готовила постели гостям, – доктор представил ее как Марию Пантелеймоновну; в разговоре она участия не принимала. Впрочем, и разговора, по сути, никак не завязывалось. После ритуальных расспросов про дорожные тяготы (причем часть их повторилась уже по второму кругу, будучи впервые опробованной по пути с пристани) беседа зашла в тупик. Лев Львович попытался было оживить ее, справляясь о практических предстоящих им заботах, как то: где лучше отыскивать себе дом или как нанять кухарку, но доктор отвечал отрывисто, почти грубо, в том смысле что жилье его казенное, а всеми домашними делами ведает Маша, так что советом в этих делах он никак помочь не может. Попытались было разговаривать и Машу, но она, по робости или косноязычию, отделялась и вовсе односложными ответами, поглядывая на гостей своими сильно косящими глазами. Положение спасла, причем вовсе не желая этого, Елена Михайловна: встав из-за стола, чтобы размять ноги, не отошедшие еще от вынужденной скованности в путешествии, она стала разглядывать висящие по стенам картины. Были они замечательны если и не по исполнению, то по сюжетам: на одной, например, стоя русалок, окружив рыбацью лодку, пыталась ее перевернуть, к ужасу и изумлению скорчившегося на скамье пожилого бородатого рыбака, неловко защищающегося веслом; на другой сатир танцевал со свиньей, вставшей на задние ноги, причем на голову свиньи был заливчатски накинут венок из васильков, съехавший с одного уха и державшийся на другом; на третьей представлен был оседланный кентавр, причем в седле, на манер леди Годивы, сидела совершенно обнаженная барышня, но почему-то с моноклемом в глазу...

«А чьи это картины? Очень похоже на Бёклина», – спросила Елена Михайловна, и оказалось, что, как в жестокой сказке братьев Гримм, именно эти слова требовались, чтобы растопить лед в сердце доктора. «Вы знаете Бёклина? – произнес он с одушевлением, – не только „Остров мертвых“, а вообще?» Поскольку все трое недавно были в Базеле на его большой выставке, ответ был утвердительным. «А в России о нем слышали только по скверным олеографиям и гнусной брошюре болвана Булгакова, – продолжал Петр Генрихович с невиданной до этого живостью (и позабыв, между прочим, про словоерсы), – а ведь это действительно гений, живший в одно время с нами. Представьте, что явился бы вдруг откуда-то с неба новый Тициан – и мир бы совершенно спокойно продолжал существовать, принимая как должное, что раз в полгода-год где-то очень далеко из-под его кисти выходит новая картина». «Так это его работы?» – переспросила Елена Михайловна. «Вообще-то, мои, но быть принятым за Бёклина – честь, доступная немногим», – проговорил доктор, и что-то вроде непривычной улыбки свело его до этого неподвижные черты.

С этого момента Петр Генрихович сделался им близким другом и деятельным покровителем. Поскольку значительная часть города была ему тем или иным обязана (врачом он был превосходным), всякий старался ему угодить – если не в рассуждении признательности за уже совершенные благодеяния, то авансом – в счет будущих. Буквально через несколько дней

нашелся превосходный купеческий дом с окнами на Песью-Деньгу, уже второй год пустовавший. Владелец его, начитавшись столичных газет, а пуще того – переводных романов, отправился мыть золото на другой конец земли, и после лаконичной открытки, отправленной из Сиэтла прошлой весной, о нем не было ни слуху ни духу. Его жена с тремя детьми (двое девочек-близнецов были прощальным подарком от золотоискателя, родившись ровно через девять месяцев после того, как он сел на пароход, двинувшийся вниз по Сухоне) переселилась к родителям. Доктор, принимавший роды всех троих, пользовавшийся соломенную вдову и ее мать от нервов, а ее отца от ишиаса, был своим человеком в семье, так что покинутый дом, узнав о нужде его друзей, хотели предоставить бесплатно, в обмен на присмотр, но Лев Львович настоял, что будет платить какую-то весьма скромную сумму. Так же просто нашлась кухарка (впрочем – прескверная), а еще – мальчик для помощи кухарке и ночной сторож. Последнее было сугубой данью традиции: никто в городе не тронул бы друзей доктора – но иметь собственного сторожа было так же ритуально необходимо, как полувеком раньше в Москве ливрейного лакея на запятках. Поэтому был по специальной рекомендации нанят особый зверовидный мужик Поликарп, с наступлением темноты каждый час обходивший дом и сад, взрывая и колотя в особенную чугунную доску. Первое время эти глухие удары в сочетании с издаваемым им медвежьим рычанием сильно беспокоили обитателей домика, которые вместо чаемого спокойствия, напротив, каждый раз начинали паниковать, но вскоре привыкли к этим ежечасным шумам, тем более что удалось синхронизировать их с боем старомодных тяжелых часов, висевших в гостиной. Клавдия на правах домоправительницы долго возилась с этими часами, которые сперва наотрез отказывались работать и только после специальных усилий, тяжело вздохнув, наконец пошли со звонким скрежетом. Днями сторож спал в сарайчике, наполняя всю его атмосферу своим особенным звериным запахом, так что та же Клавдия, приходившая туда, чтобы взять грабли, лопату или еще что-то, нужное для ухода за палисадником (от садовника она отказалась наотрез), вынуждена была зажимать нос надушенным платочком.

Складывалась работа и у Елены Михайловны. Сперва Веласкес, полагая, что швейцарские теории могут небезупречно лечь на тотемскую практику, старался ее беречь, используя лишь для простейших манипуляций, и то в основном под собственным контролем. Она раздавала порошки, мерила температуру, придерживала младенцев, когда доктор при помощи специальной трубки заглядывал им в ушки и ротки, и помогала больничному провизору, мечтавшему юноше, немедленно в нее влюбившемуся, готовить препараты при большом наплыве пациентов. Позже, убедившись в ее выучке и хладнокровии, доктор стал доверять ей и более серьезные дела, переложив на нее, в частности, большую часть тягот первичного приема и сосредоточившись на операциях и сложных случаях. В результате хуже всего, как это ни парадоксально, приспособился к сложившейся ситуации сам Рундальцов. С одной стороны, он, если рассуждать формально, получил именно то, что хотел: соединившись браком с возлюбленной, оказался с ней вдвоем почти на необитаемом острове – предел романтики, который, применительно к русским условиям, можно было вообразить. С другой, все это было фарсом и притворством: возлюбленная ночевала в отдельной спальне (порой принимая там гостей, так что Лев Львович, снедаемый ревностью и возбуждением, до утра прислушивался к звукам, доносящимся из-за дощатой перегородки), а сам он был лишен возможности завести себе интрижку на стороне – в маленьком городке это немедленно сделалось бы известным. Не нашел он себе места и в практическом смысле: после пары попыток сыскать необременительной работы у Веласкеса он убедился, что его мутит от вида крови и больничных запахов, так что доктор, бесстрастно за ним наблюдавший, счел его для фельдшерской карьеры непригодным. Он подумал было вернуться к своим гидробиологическим исследованиям, но короткое северное лето заканчивалось, так что он не успел бы даже получить по почте выписанные приборы. Несколько раз он ходил в земскую библиотеку, покорно уплатив членский взнос и старательно проглядывая свежие номера журналов, постулавшие в Тотью хотя и с большим опоз-

данием, но исправно. Пытался даже, вспомнив слова Веласкеса, сказанные им при знакомстве, сам кое-что писать, но тоже быстро приуныл: события собственной жизни, представлявшие, кажется, интерес для романиста, выходили под его пером какими-то сухими строками безжизненной хроники, в которые он никак не мог вместить пережитые им, живым человеком из плоти и крови, ощущения и мысли. Тогда, сдавшись наконец, он, как давно советовали ему Елена Михайловна с Клавдией, отправился в учительскую семинарию искать места преподавателя естественных наук. Но и тут его ждала неудача: штат был укомплектован полностью, вакансия ожидалась разве только следующей осенью – и то хлопотать о ней стоило в Вологде. Несмотря на портящуюся погоду, он помногу гулял, исполнял мелкие хозяйственные дела, встречал и провожал Елену Михайловну до больницы, хотя идти там было немногим более десяти минут, перечел дважды Полное собрание сочинений Григоровича, чудесным образом сохранившееся в покинутом доме (кроме седьмого тома, отдельную судьбу которого он иногда старался вообразить), – и все время беспрестанно скучал.

Единственное событие, которое хоть немного позволяло разредить единообразие его будней, – еженедельный чай у доктора, на который по традиции отправлялись втроем. В основном говорили доктор с Еленой Михайловной, причем чаще по делу, заканчивая в спокойной обстановке обсуждения, начатые на работе. Иногда, очень редко, доктор рассказывал о себе, причем биографические подробности обходил очень старательно, но от бесед об искусстве удержаться не мог. В живописи он был самоучкой, никогда не брал уроков, но при этом обладал удивительными познаниями в истории искусств, причем, кажется, достигнутыми не по книгам, а въяве. Хотя он уклонялся от прямых вопросов о совершенных им заграничных путешествиях, было очевидно, что человек, не видевший своими глазами галерею Уффици или Скуолу Гранде деи Кармини, ни при каких условиях не может говорить о содержащихся там шедеврах с такой отчетливой ясностью. Однажды он не меньше часа рассказывал о маленькой картине Карло Кривелли из венецианской Академии, изображавшей четверых святых, – одного из них, святого Роха, который невозмутимо демонстрировал зрителю чумной бубон, означавший бы для обычного, не святого, близкую и мучительную смерть, доктор, кажется, почитал отчасти своим покровителем – не только из-за его безусловных медицинских заслуг, но и – парадоксальным образом – потому, что названная в его честь скуола была в живописном смысле едва ли не самой богатой в Венеции. Странными были эти собеседования о пышном европейском Возрождении, происходившие за тысячи километров от Италии в темной и мрачной Тотьме, прерывавшиеся порой визитами кого-то из больничной прислуги или стуком в дверь, возвещавшим срочный вызов к пациенту.

Иногда, придя к доктору, обнаруживали расставленный посередине гостиной мольберт с сохнувшей на нем новой его работой: то диковинную бабочку с женским лицом, медленно парящую на фоне узнаваемой излучины Песьей-Деньги, то трех крупных летучих мышей в вицмундирах, чинно едущих куда-то на шестилапой росомaxe со шкиперской трубкой в бело-снежных зубах. Выставлены холсты были вроде как случайно, в ожидании пока высохнет лак, но видно было, что доктору буквально не терпелось узнать, какое впечатление они производят на его новых друзей. Рундальцовы и Клавдия были, судя по всему, единственными в Тотьме, кто видел его свежие картины. Кое-что он иногда посылал на столичные выставки: понять по названиям, которому из новомодных художественных объединений могут подойти прихотливые плоды его музыки, было мудрено: смелый по имени «Треугольник» отвечал отказом, а, напротив, вполне традиционный по звучанию «Венок» принял две работы (в прах, кстати, разбраненные критикой). Понятно, что под своим именем доктор выставяться не хотел ни при каких условиях – покойный немец-аптекарь, наградивший его при рождении фамилией Веласкес, не мог, конечно, предполагать, насколько некстати она окажется для повзрослевшего сына. «С другой стороны, – говорил рассудительно сын, – Рафаэль было бы еще хуже». В минуту находившей на него временами угрюмой веселости он взял себе псевдоним Некрофилин –

сперва, кажется, посылая картину на конкурс изображений дьявола, проводившийся московскими «Аргонавтами», а позже использовал в качестве основного. Дьявол в его изображении был девочкой-гимназисткой с длинной косой и смотрящими прямо на зрителя круглыми желтыми глазами с едва проработанными зрачками: на левом плече у нее сидела маленькая сова-сплюшка. Только приглядевшись, можно было увидеть у девочки еле видный из-под черного гимназического платья кончик хвоста с кисточкой, как у льва. Работу на конкурс не приняли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.